

ISSN 0132-1366

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



СЛАВЯНО •
• ВЕДЕНИЕ



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт славяноведения и балканистики

Славяноведение

3
1998

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

МАЙ •

ИЮНЬ •

Содержание

СТАТЬИ

<i>Венедиктов Г.К.</i> (Москва). К 70-летию академика В.Н. Топорова.....	3
<i>Дыбо В.А.</i> (Москва). О системе акцентных парадигм в прусском языке (Материалы к акцентологии прусского языка. I).....	5
<i>Цейтлин Р.М.</i> (Москва). О древних славянских словах мысль, мыслити и мьнѣти, мѣнити.....	19
<i>Смирнов Л.Н.</i> (Москва). Из истории словацкого литературного языка.....	23
<i>Венедиктов Г.К.</i> (Москва). У истоков становления делового стиля современного болгарского литературного языка.....	30
<i>Гачев Г.Д.</i> (Москва). Вино болгар и Табак турок (натур-философский романс на стихотворение Христо Ботева "В механата" ("В корчме")).....	37

* * *

<i>Шевченко И.И.</i> (Кембридж, США). О греческой поэтической продукции Максима Грека.....	46
<i>Юдин А.В.</i> (Одесса). Имена персонифицированных лихорадок в восточнославянских заговорах: проблема вариативности.....	53
<i>Серебряная И.Б.</i> (Казань). К истории слова <i>черт</i> в русском языке.....	65
<i>Пишеницына Н.А.</i> (Москва). "Смерть ходит по деревне..." (Обходный обряд с "Мореной" у чехов и словаков сквозь призму фольклорных текстов).....	74
<i>Коровицына Н.В.</i> (Москва). Между двумя революциями: образовательный фактор в истории восточноевропейского социализма.....	80

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Белова О.В.</i> Физиолог.....	92
<i>Досталь М.Ю., Косик В.И.</i> Л.П. Лаптева. Славяноведение в Московском университете в XIX – начале XX в.	96
<i>Лаптева Л.П.</i> Польские профессора и студенты в университетах России (XIX – начало XX в.).....	101

<i>Шведова Н.В.</i> К 80-летию Льва Сергеевича Кишкина.....	105
Гибианский Л.Я., Чуркина И.В. Памяти Николая Перовича (1910–1997).....	107
Новые издания Института славяноведения и балканистики РАН.....	109

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Ю.С. НОВОПАШИН (главный редактор), **А.В. БОЛДОВ** (отв. секретарь),
М.А. ВАСИЛЬЕВ, **Г.К. ВЕНЕДИКТОВ**, **В.К. ВОЛКОВ**, **Р.П. ГРИШИНА**,
А.А. ГУГНИН, **В.И. КОСИК**, **Г.Ф. МАТВЕЕВ**, **Г.П. МЕЛЬНИКОВ**,
В.В. МОЧАЛОВА, **С.В. НИКОЛЬСКИЙ**, **В.Я. ПЕТРУХИН**,
М.А. РОБИНСОН (первый зам. главного редактора),
Л.А. СОФРОНОВА (зам. главного редактора), **Б.Н. ФЛОРЯ**,
В.А. ХОРЕВ, **Т.В. ЦИВЬЯН** (зам. главного редактора)

Зав. редакцией *И.И. Бизьева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л.А., Васильев М.А., Веслова И.Ю.,
Кошкина Е.А., Стемковская Ю.Е.*



К 70-летию академика В.Н. ТОПОРОВА

Свое семидесятилетие главный научный сотрудник Института славяноведения РАН, академик Владимир Николаевич Топоров встречает на высоком творческом подъеме и в напряженной плодотворной работе – так, как свойственно натуре подлинного ученого.

Вся научная деятельность В.Н. Топорова связана с Институтом славяноведения АН СССР (РАН), где он работает с 1954 г. Все это время он играл и играет важную роль в определении основных направлений лингвистических исследований в Институте и выборе тем коллективных и индивидуальных трудов, руководит разработкой многих проблем и подготовкой молодых ученых.

Чуждый каким-либо научно-номенклатурным и карьерным амбициям, В.Н. Топоров поздно стал действительным членом РАН. Но задолго до этого поразительно широкая научная эрудиция, необычайная творческая одаренность, неиссякаемая трудоспособность очень быстро поставили ученого в ряд крупнейших и авторитетнейших представителей современной отечественной и мировой науки. При этом долгие годы он трудился как бы в ситуации некоторого отчуждения от него академических руководителей разного ранга.

Научная проблематика, затрагивавшаяся В.Н. Топоровым, необычайно разнообразна. Вот лишь некоторые из тех, что связаны с изучением славянства: славянский этногенез; сравнительная грамматика славянских языков; этимология; топонимика; семиотика; мифология; поэтика; фольклор; история литературы. И в разработку каждого из названных и множества других различных вопросов он внес весомый вклад.

Наряду со славяноведческой проблематикой – поразительно разнообразие других областей, куда проник пылкий взгляд исследователя. Особенно плодотворным в этом отношении оказалось последнее десятилетие, когда, не сковываемый неловкостями некоторых внеученных обстоятельств, В.Н. Топоров издал серию монографий, посвященных истории культуры разных народов в разные периоды их развития. Это "Неомифологизм в русской культуре XX века" и "Эней – человек судьбы", «"Бедная Лиза" Карамзина. Опыт прочтения» и "Пространство и текст", "Святость и святые в русской духовной культуре" (Т. 1) и "Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического" и др. Нет сомнений в том, что уже в ближайшие годы В.Н. Топоров обогатит отечественную и мировую науку новыми исследованиями, а своих многочисленных учеников и последователей порадует щедрым источником новых идей и открытий.

Отдел типологии и сравнительного языкознания, у истоков создания которого в Институте стоял В.Н. Топоров, к знаменательной дате юбилея подготовил спе-

циальный сборник, включающий большое число статей ученых России и зарубежных стран. Это дань уважения и огромного вклада В.Н. Топорова в гуманитарные науки нашего времени.

Журнал "Славяноведение", в котором был опубликован ряд работ В.Н. Топорова, на страницах настоящего номера помещает подборку из нескольких статей сотрудников разных отделов Института, посвященную юбилею, и желает В.Н. Топорову крепкого здоровья и творческого долголетия.

© 1998 г. *Венедиктов Г.К.*



© 1998 ДЫБОВ В.А.

О СИСТЕМЕ АКЦЕНТНЫХ ПАРАДИГМ В ПРУССКОМ ЯЗЫКЕ (МАТЕРИАЛЫ К АКЦЕНТОЛОГИИ ПРУССКОГО ЯЗЫКА. I)

В третьем прусском катехизисе (*Enchiridion*) имеются, по-видимому, две графические особенности, по которым можно установить место ударения в словоформе. Это, во-первых, значок ~ (в различных транслитерациях изображается просто как -), который ставится над долгим ударным слогом¹. То, что этот значок обозначал ударение, достаточно убедительно показал Ф.Ф. Фортунатов в работе «Об ударении и долготе в балтийских языках. I. Ударение в прусском языке». // Русский филологический Вестник. Т. XXXIII, 1895 (Имеется перевод на немецкий язык [1]). Он же показал, что в слогах с балтийскими дифтонгами и с вторичными прусскими дифтонгами, возникшими в результате дифтонгизации балтийских долгих монофтонгов, посредством постановки этого значка над первой или второй частью дифтонга в прусском языке обозначались просодические явления, соответствующие литовскому акуту (1) и циркумфлексу (2): (1) прус. *pogaūt* = лит. *pagáuti*; прус. *pertraūki* = лит. *užtraúkė*; прус. *kaūlins* = лит. *káulas*; прус. *boūt* = лит. *búti*; прус. acc. sg. *soūnon* = лит. acc. sg. *súnu*; прус. gen. pl. *ioūsan* = лит. *júsu*; прус. dat. pl. m. *steimans* = лит. dat. pl. m. *tiems*; прус. *aīnan* = лит. *viėnq*; прус. *geīwan* = лит. *gývaq*; (2) прус. acc. pl. *āusins* = лит. acc. pl. *ausis* (ср. acc. sg. *aūsī*); прус. *āustin* (ср. др.-инд. *oṣṭhah*); прус. *ēit* = лит. *eīti*; прус. *fwāigſtan* = лит. *žvaigžde*; прус. *lāiku* = лит. *laiko*; прус. *lāiskas* = лит. *laiškas*. Аналогичное использование постановки этого значка Ф.Ф. Фортунатов усматривал и в случаях дифтонгических сочетаний с плавными и носовыми при том, что над плавными и носовыми этот значок не ставился. Действительно, в подавляющем большинстве случаев, когда над дифтонгическим сочетанием стоит значок ~ (естественно, что во всех этих случаях значок ~ стоит над первой частью этого сочетания), мы имеем дело с циркумфлектированными дифтонгическими сочетаниями. Однако есть

Дыбов Владимир Антонович — д-р филол. наук, академик РАН, зав. кафедрой славянского языкознания ФГБОУ ВПО РГГУ.

¹ Иногда этим же значком в тексте *Enchiridion*'а изображается назальный согласный, но таких случаев немного, и проблема истолкования почти никогда не возникает. Исключительные случаи будут обсуждены при анализе примеров.

случаи, когда такой постановке значка ~ соответствует литовское акутированное дифтонгическое сочетание. Это, в первую очередь, адъективный суффикс *-ing-*: *Wertings*, *niwertings*, *wertingiskan* (ср. лит. *vertingas* 'ценный'), *teisingi*, *niteisingiskan* (ср. лит. *teisingas* 'справедливый, правдивый, правильный, верный'). Обращает на себя внимание, что это балтийский рецессивный суффикс, при котором в производных сохранялся подвижный акцентный тип, а при йотации могла происходить метатония. Другие случаи менее ясные, они будут специально отмечаться ниже в материале.

Второй графический прием, который, по-видимому, имеет отношение к месту ударения, — это удвоение согласных. Обычно принимается, что краткие ударные гласные в тексте *Enchiridion*'а обозначались постановкой после них удвоенного согласного. Это убеждение восходит, вероятно, к Н. Ван-Вейку, который, опираясь на такое написание согласных, разделил (с его точки зрения) парокситонированные и пропарокситонированные формы *praes. pl.* глаголов и такие же формы *dat. pl.* имен [2, с. 135–139]. В дальнейшем этим же приемом пользуется Хр. Станг для разделения прусских глаголов на *-in-*, которые, как оказывается в результате его анализа, проводят акцентуационное деление между деноминативами и каузативами [3, с. 369–371]. Характерно, однако, что ни Н. Ван-Вейк, ни Хр. Станг не распространяли своего правила на все случаи написания удвоенных согласных в прусских памятниках². Это и понятно, в тексте *Enchiridion*'а обнаруживается богатейший набор примеров с проставленным значком ~ и с удвоенным написанием согласных после слога, предшествующего слогу, помеченному этим значком: *gennāmans*, *femmē*, *gallū*, *labbings*, *Jffprettingi*, *skellāntai*, *feggūns*, *pertennūns*, *tennēmons*, *turrītwei*, *billiton*, *enwackēimai*, *tennēifon*, *feggēmai*, *fällūban*, *popockūt*, *stallēmai*, *deffimts*, *billä*, *tickrōmien*, *preiwackē*, *wackītwei*, *perweddä*, *epwarriřnan* и многие другие.

Таким образом, обнаруживается явное противоречие между правилом, которое было выведено, в значительной степени опираясь на системные соотношения³, и правилом, которое выявлялось из рассмотрения акцентованных форм. Первое утверждает, что удвоением согласного отмечались предшествующие этому удвоению ударные краткие гласные, второе утверждает, что удвоением согласного отмечались краткие безударные гласные, в подавляющем большинстве случаев непосредственно предшествующие ударному слогу. Второе правило поддерживается также тем обстоятельством, что такая же практика обозначения краткостей установилась в литовской орфографии того же времени [6, с. 21]. Это противоречие было разрешено Ф. Кортландтом, который предположил, что в прусском произошло передвижение акцента с краткого слога на следующий за ним слог [7]⁴. Закон Кортландта позволяет объединить материалы с непосредственным обозначением ударения в словоформе с материалами, где место

² Единственное место, которое я смог обнаружить у Ван-Вейка, где его позицию можно истолковать тенденцией к расширению его правила, — это [4, S. 60].

³ Н. Ван-Вейк, по-видимому, не имел достаточно четкого представления о реконструкции двух акцентных парадигм балтийского глагола, хотя наметки такой реконструкции были получены уже Ф. де Соссюром, но он обратил внимание на тождественное акцентуационное поведение славянского глагола *žiti*; при анализе форм *dat. pl.* он мог опираться на соответствующие формы двух акцентных типов литовского имени. Сравнительно-историческое обоснование его разбиения выглядит как крайне слабое, а теоретическому осмыслению мешает априорная уверенность в первичности «баритонированного» акцентного типа, тем не менее, как будет ясно из дальнейшего, его разбиение оказалось верным (это разбиение уже с новых акцентологических позиций было верифицировано Хр. Стангом и хорошо уложилось в его балто-славянскую акцентологическую реконструкцию [5, с. 155–157]). Хр. Станг в анализе прусских *-in-* глаголов опирался на словообразовательные отношения, и его анализ также трудно оспорить.

⁴ Аналогичное истолкование прусских фактов было предложено мною, независимо от Ф. Кортландта, в 1973 году в лекциях по балтийской акцентологии, читанных мной на Ностратическом семинаре, я однако воздержался от публикации соответствующей работы, так как мне тогда была недоступна работа Ван-Вейка [2].

ударения опознается по отмеченной предударной краткости, и получить довольно полную реконструкцию прусской акцентной системы, в значительной степени согласующуюся с балтийской и балто-славянской реконструкциями, полученными в результате изучения других балтийских и славянских языков⁵. По-видимому, законом Кортландта объясняется совпадение в прусском языке краткостных имен мужского рода бывших подвижной и баритонной акцентных парадигм в едином конечнударном типе⁶.

Кроме указанных особенностей графики *Enchiridion'a*, имеются чисто языковые особенности, позволяющие иногда установить место ударения в прусской словоформе: так как дифтонгизация *ī* и *i* в прусском происходила в ударном слоге под акутовым ударением, мы можем привлекать примеры с дифтонгическим написанием этих гласных, даже если над ними не поставлен значок \sim , т.е. рассматривать формы типа *wijrimans*, *geijwas* как $\leq *wīr̄mans$, $\leq *gf̄was$ ⁷.

Имеются, по-видимому, еще какие-то возможности для изучения прусской акцентовки, так, возможно, не исчерпаны данные, отражающие процессы редукции конца слова; изменение взгляда на акцентную систему прусского языка в результате реконструкции того ее фрагмента, который восстанавливается на основании указанных выше особенностей, может привести к определенным коррективам результатов, полученных в предшествующих исследованиях. Но это, конечно, задача следующего этапа.

ИМЕННЫЕ АКЦЕНТНЫЕ ПАРАДИГМЫ

Ниже приводятся все словоформы, для которых удастся с той или иной степенью вероятности установить прусский или балтийский акцентный тип. Они распределены по литовским акцентным парадигмам. Для этого имеются определенные основания: литовские акцентные парадигмы имени (с учетом древнелитовского) довольно хорошо отражают балтийскую систему, кроме того, в прусском в какой-то мере сохраняются следы действия закона де Соссюра и поэтому релевантно, так же как и для литовского, разбиение этим процессом двух балтийских акцентных типов на четыре акцентные парадигмы. Конечно, получить набор акцентных кривых для каждого приводимого прусского слова практически невозможно: материал слишком скуден, — но, собрав все словоформы одного акцентного типа, мы можем установить какие-то значимые их фрагменты.

⁵ Характерно однако, что все эти исследования не поколебали уверенности в общем характере правила, которое можно условно назвать правилом Ван-Вейка. Так, в новом издании I прусского катехизиса Б. Стунджа дает реконструкцию текста, которая в акцентологической части, по-видимому, в большой мере основана на этом правиле [8, S. 76–87].

⁶ Предположение о наличии в прусском конечнударного акцентного типа было выдвинуто впервые Ф. Ф. Фортунатовым [1, S. 167 и след.], на той же позиции стоял и Н. Ван-Вейк [4, S. 74]). Хр. Станг использовал его для поддержки своего положения об индоевропейской древности славянской а.п. *b* [5, S. 60–61]). Кроме общей убежденности во вторичном характере и относительно позднем происхождении балто-славянского подвижного акцентного типа, это мнение опиралось на наличие в *Enchiridion'e* некоторого количества довольно частотных словоформ, над которыми знак \sim никогда не ставится, так как над конечными краткими слогами какого-либо знака, которому можно было бы приписать акцентный характер тоже никогда не бывает, эти формы были истолкованы как отражающие окситонезу. Отношение этих форм к краткостному окситонированному типу требует дополнительного анализа.

⁷ Здесь и ниже знак \leq читается: 'равняется или из'.

1. *gīdan* acc. sg. III, 5521 'schande' ['Schande'], 'gēda' (≤ **gīdan*⁸; для балтийского акцентного типа ср. лит. *gēda*, gen.sg. *gēdos*, acc. sg. *gēdą* f. I а.п. 'стыд, позор', так же в др.-лит. по DP: *gēda* nom. sg. 17642 и др., *gēda* nom. sg. 4040 и др., *gēdos* gen. sg. 18224 и др., *gēdoš* gen. sg. 25422, *gēdos* gen. sg. 4645 и др., *gēdas* gen. sg. 19748, *gēda* instr. sg. 13139 и др., *gēdoie* loc. sg. 11228, *gēdas* acc. pl. 1289 и др., см. Kudz. I, 217).

2. *Mūti* nom. sg. III, 673 'Mutter', 'motina' (≤ **mūti*), *mūtin* acc. sg. III, 10122, *Mūtien* acc. sg. III, 2917 'Mutter', 'motina' (≤ **mūtīn*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *mótė* I а.п. 'жена', та же а.п. в др.-лит. по DP: *móte* nom. sg. 6927 и др., *móte* nom. sg. 43129, *móte* nom. sg. 167b18 и др., *móteres* gen. sg. 1737 и др., см. Kudz. I, 463; лтш. *māte*, gen. sg. *mātes* 'die Mutter'; см. [6, с. 76-77 и с. 78-83]).

3. *Tāws* III, 273, 1156, 12914 'Vater', 'tēvas', *Tāws* III, 4920 'Vatter', 'tēvas', III, 13115 'Vatter', 'tēve' (≤ **tāws*), *Tāwa* voc. sg. III, 471, 476 'Vater', 'tēve' (≤ **tāwa*), *Tāvas* gen. sg. III, 5916 'Vatters', 'tēvo', III, 653, 12911 'Vaters', 'tēvo' (≤ **tāwas*); *tāwan* acc. sg. III, 2917, 1273 'Vater', 'tēva' (≤ **tāwan*); *tāwans* acc. pl. III, 3714 'Väter', 'tēvu' (≤ **tāwans*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. диал. Šl. *tėvas* I и 3 а.п. 'ojciec', в др.-лит. по DP почти исключительно I а.п.: *tėwai* nom. pl. 532 и др., *tėway* nom. pl. 6445, *tėwai* nom. pl. 12840, см. Kudz. II, 331-333; лтш. *tēvs* 'Vater, alter Mann');

4. *wīrs* nom. sg. III, 872, 10321 'Man', 'vyras' (≤ **wīrs*), *Wīran* acc. sg. III, 1096 'Man', 'vyra', *wīran* acc. sg. III, 1054 'Manne', 'vyru' (≤ **wīran*), *wīrau* acc. sg. III, 10121 'Manne', 'vyro' (опечатка, вместо *wīran* ≤ **wīran*), *wīrin* acc. sg. III, 10321 'Mennern', 'vyru' (≤ **wīrān*), *Wīrai* nom. pl. III, 935, 1036, *wīrai* nom. pl. III, 10314-15 'Menner', 'vyrai' (≤ **wīrai*), *wīrimans* dat. pl. III, 10326 'Mennern', 'vyrams' (≤ **wīrāmans*), *Wīrans* acc. pl. III, 9312-13 'Mennern', 'vyrams' (≤ **wīrans*) (акутовая интонация устанавливается по дифтонгизации прусского *ī*; для балтийского акцентного типа ср. лит. *vīras*, nom. pl. *vīrai* I а.п. 'мужчина; муж', так же в др.-лит. по DP: *wīru* instr. sg. 4910 и др., *wīrai* nom. pl. 12532 и др., *wīramus* dat. pl. 705 и др., *wīrais* instr. pl. 54231, см. Kudz. II, 439; лтш. *vīrs* '(Ehe)mann; Knecht, Arbeiter', см. [6, с. 73 и с. 78-83]).

5. *dīlas* gen. sg. III, 898 'wercks', 'veiklos' (≤ **dīlas*), *Dīlan* acc. sg. III, 7923 'werck', 'darbo', *dijlan* acc. sg. III, 12514 'Wercken', 'darbui' (≤ **dīlan*), *dīlans* acc. pl. III, 332, 693 'wercken', 'darbuose', *dīlins* acc. pl. III, 677 'wercken', 'darbais' (≤ **dīlāns*) (акутовая интонация устанавливается по дифтонгизации прусского *ī*; для балтийского акцентного типа ср. слав. **dělo*, а.п. а: схрв. *djělo*, словен. *délo*, чеш. *dílo*; слово считалось заимствованным из польского, но сейчас появилась тенденция рассматривать его как исконно родственное, см. [9, 10]).

6. *grīkas* gen.sg. III, 1179 'Sünden', 'nuodėmės' (≤ **grīkas*), *griku* dat. sg. III, 1152 'Sūnde', 'nuodėmėje' (≤ **grīku*), *grīkai* nom.pl. III, 6512-13 'sūnde', 'nuodėmės' (≤ **grīkai*), *grikan* gen. pl. III, 456, 11925 'Sünden', 'nuodėmių' (≤ **grīkan*), *grikan* gen. pl. III, 11523, 12721 'der Sünden', 'nuodėmių' (≤ **grīkan*), *grītulkans* acc. pl. III, 659, 6515, 1176 'Sūnde',

⁸ В прусских реконструкциях здесь и ниже я использую литовский способ постановки тональных знаков, не придавая, однако, ему какого-либо конкретного тонологического значения.

'nuodėmes', *grīkans* acc. pl. III, 65¹⁷ 'Sūnden', 'nuodėmes', *grīkans* acc. pl. III, 37¹⁴, 45²⁰ 'Jūnde', 'nuodėmes', III, 63¹⁷, 67¹⁸, 69²⁰ 'Jūnden', 'nuodėmėmis', *grīkans* acc. pl. III, 55³⁻⁴ 'Sūnde', 'nuodėmes' (≤ **grīkans*), *grīkans* acc. pl. III, 65²¹ 'Jūnde', 'nuodėmes', III, 115¹¹ 'Sūnde', 'nuodėmes', *esse grīkans* acc. pl. III, 115¹²⁻¹³ 'von Sūndt', 'nuo nuodėmių' (≤ **grīkàns*), *en grīkans* acc. pl. III, 113²⁰ 'inn Sūnden', 'nuodėmėse' (≤ **en grīkans*) (акутовая интонация устанавливается по дифтонгизации прусского *ī*; слово заимствовано из польского, поэтому подвижный акцентный тип маловероятен).

7. *kaūlins* acc. pl. III, 101¹⁹ 'beinen', 'kaulų' (≤ **kāulams*, интонация корневого слога устанавливается по правилу Фортунатова; для балтийского акцентного типа ср. лит. *kāulas* I а.п. 'кость', так же в др.-лит. по DP: *kāutai* nom. pl. 179²³, *kautų* gen. pl. 195²³ и др., *kautu* gen. pl. 605⁷, *kautų* gen. pl. 445¹⁵, *kautus* acc. pl. 170³ и др., *kāulus* acc. pl. 469³⁸, и один раз с двумя знаками ударения: *kāuláis* instr. pl. 131³⁷, см. Kudz. I, 355; лтш. *kauls* 'der Knochen'; балго-славянская баритонеза по закону Хирта, см. [6, с. 74 и с. 78–83]).

8. *iūrin* acc. sg. III, 119¹⁶ 'Meer', 'jūroje', *en iūrin* acc. sg. III, 107¹ 'im Meer', 'jūroje' (≤ **jūriān*, для интонации и балтийского акцентного типа ср. лит. *jūra*, gen. sg. *jūros* I а.п. 'море', диал. Šl. *jūrė* I 'morze', pl. *jūrios*, gen. *jūrių* 'ocean'; лтш. *jūra*, *jūra* 'das Meer').

9. *Stankīšman* acc. sg. III, 101¹ 'Dieweil', 'tą metą (, kai)', III, 115¹ 'Dieweyl', 'tą metą (, kai)', *Stankīšman kai* acc. sg. III, 103¹ 'Weil', 'tą metą, kai', *Stankīšman| kai* acc. sg. III, 105⁶⁻⁷ 'Dieweil', 'tą metą, kai', *štan kīšman* III, 131⁶ 'tą metą', *štenkīšman* III, 125¹ 'dieweil', 'tą metą (, kai)', *štan kīšman kai* III, 123⁸⁻⁹ 'tą metą' (≤ **kīšman*; акутовая интонация устанавливается по дифтонгизации прусского *ī*, слово связывается со слав. **čāsъ*, а.п. а: схрв. *čas* 'мгновение', словен. *čas*, gen. sg. *časa* 'время'; какого-либо механизма смены акцентного типа при подобных деривационных различиях не наблюдается).

10. *mīls* nom. sg. m. III, 67¹⁴ 'lieber', 'mielas', *Mijls* nom. sg. m. III, 67¹⁰ 'Lieber', 'mielas', *mijls* nom. sg. m. III, 49⁸, 71¹⁵, 113¹¹ 'lieber', 'mielas' (≤ **mīls*), *mijlas* gen. sg. m. III, 109⁹, 119²², 131⁸ 'lieben', 'mielo' (≤ **mīlas*), *mīlan* acc. sg. III, 27¹⁰ 'lieb[haben]', 'mielą', *mīlan* acc. sg. III, 79¹² 'lieben', 'mielą', III, 131¹⁹ 'lieben', 'mielam', *mijlan* acc. sg. m. III, 47¹³, 81¹², 113²⁵, 129¹⁷ 'lieben', 'mielą (≤ **mīlan*), *mīlai* nom. pl. m. III, 89⁵ 'lieben', 'mieli', *mijlai* nom. pl. m. III, 47¹² 'lieben', 'mieli' (≤ **mīlai*), *Mijlas* nom. pl. f.? III, 113⁹, 123⁸ 'Lieben', 'mieli' (≤ **mīlas*), *mijlan* adv. III, 31⁶ 'lieb', 'mielai' (≤ **mīlan*), *mijls* adv. compar. III, 89⁸ 'lieber', 'mieliau' (≤ **mīls*) (акутовая интонация устанавливается по дифтонгизации прусского *ī*, для балтийского акцентного типа ср. др.-лит. *mielas* по DP, где еще сохраняется в качестве варианта I а.п. этого прилагательного: *miėtasiš* nom. sg. n., чл. ф. 431⁷, *miėtoii* nom. sg. f., чл. ф. 411²⁸, 432⁴⁹, *miėloii* nom. sg. f., чл. ф. 100⁴², *miėtoi* nom.sg.f., чл.ф. 126, *miėtos* gen.sg.f. 177³ и др., см. Kudz. I, 446–448; лтш. *mīļš* 'lieb', слав. *mīľъ*, а.п. а, см. [11, с. 23]).

11. *škijštan* acc. sg. III, 127¹⁰ 'skaisčios' (≤ **skīštan*), *škijštan* adv. III, 49⁵⁻⁶ 'tein', 'tyrai' (≤ **skīštan*), *skīštai* adv. III, 33¹ 'keu[ch]', 'skaisčiai' (≤ **skīštai*) (акутовая интонация устанавливается по дифтонгизации прусского *ī*, для балтийского акцентного типа ср. лтш. *škīšts*, слав. **čīstь*, f. **čīsta*, n. **čīsto*, см. [9, с. 23]).

12. *Salūbin* acc. sg. III, 99¹⁹ 'Gemahel', 'sutuoktine', *Salūban* acc. sg. III, 101² 'Ehe',

'santuokos' (\leq *salūbān), *Salaūbai* nom. pl. III, 103₂ 'Ehe[standt]', 'santuokos' (\leq *salūbai) (акутовая интонация устанавливается по дифтонгизации прусского *ū* в соответствие с правилом Фортунатова; так как слово заимствовано из польского, подвижный акцентный тип маловероятен).

13. *Salūbfna* nom. sg. III, 99₁₆ 'Trewung', 'sutuokimas' (\leq *salūbsna) (образование из предшествующей лексемы при помощи прусского суффикса; какого-либо механизма смены акцентного типа при подобных деривационных преобразованиях не наблюдается).

14. *Powackīfna* nom. sg. III, 99₄ 'Auffbietung', 'pašaukimas' (\leq *powakīfna) (образование от итеративного *ī*-глагола, что в балто-славянской реконструкции исключает подвижный тип).

15. *Enteikūfna* nom. sg. III, 111₃ 'Form', 'tvarka' (\leq *entei-kūsna), *enteikūfnan* acc. sg. III, 89₂₂₋₂₃ 'Ordnnng [Ordnung]', 'patvarkymui' (\leq *enteikūsnan), *teikūfnan* acc. sg. III, 99₃ '[Kirchen]ordnung', 'potvarkuje' (образование от *ā*-глагола, в балтийской группе какие-либо следы подвижного акцентного типа в этих глаголах не фиксируются).

А.п. 2

Долготные имена

1. *rānkan* acc. sg. III, 83₁₀ 'handt', 'ranka', 'пуку', *rānkan* acc. sg. III, 97₇ 'Handt', 'ranka', *rānkan* acc. sg. III, 113₇ 'hende', 'ranka' (\leq *rañkan), *rānkans* acc. pl. III, 79₁₉, 81₁₈, 'Hende', 'rankas', III, 107₁₁ 'hende', 'rankas', *rānkans* acc. pl. III, 85₁ 'henden', 'rankomis' (\leq *rañkans) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *rankà*, 2 а.п. в совр. и др.-лит. по DP: *rākos* gen. sg. 75₁₅ и др., *rānkoie* loc. sg. 140₉, *rākoie* loc. sg. 307₅₁ и др., *rāku* gen. pl. 39₄₃ и др., *rāku* gen. pl. 75₁₆ и др., *rākomus* dat. pl. 403₁₇, см. еще Kudz. II, 179-180; см. также [6, с. 23-24]).

2. *Maddla* nom. sg. III, 47₁₄, 49₁₃, 51₄, 51₂₁, 53₁₉ 'Bitte', 'prašymas' (\leq *mādlā); *madlin* acc. sg. III, 49₂, 49₁₈, 53₆, 55₂ 'Gebet', 'maldoje', III, 111₈ 'Gebet', 'maldai', III, 111₁₅ 'Gebet', 'malda', *madlin* acc. sg. III, 53₅ 'Bitte', 'maldos', *madlin* acc. sg. III, 55₄ 'Bitte', 'prašymā', *madlin* acc. sg. III, 121₁₄₋₁₅ 'Gebet', 'malda', *madlan* acc. sg. III, 49₁₇, 51₉ 'Gebet', 'maldos' (\leq *mādlān); *madlas* nom. pl. III, 57₁₆ 'Bitte', 'maldos' (\leq *mādlas) (при принятии предположения о заимствовании из польского неподвижный акцентный тип наиболее вероятен, осложняющим фактором является то, что корневой гласный трактуется орфографией как долготный с сокращением долготы в пом. sg., где ударение на окончании по закону де Соссюра; легче всего это явление объяснялось бы из реконструкции Бернекера: *maldla с дальнейшим устранением *-l-*, но с сохранением долготы дифтонгического сочетания; вероятно, подобный эффект можно допустить и для метатезы из *malda, в последнем случае для балтийского акцентного типа релевантно лит. *maldā* 'молитва, моление, мольба', 4 а.п. в совр. литер. языке и по подавляющему большинству форм в др.-лит. по DP, см. Kudz. I, 424-425, как реликт 2 а.п. в DP могут быть истолкованы лишь формы: *māldós* gen. sg. 106₁₅, 148₄₀, 228₄₂, *mātdoié* loc. sg. 117₂₁, 371₄₃, *mātdū* gen. pl. 228₁₃, *mātdomis* instr. pl. 413₄₄; но ср. слав. отыменной глагол *modlīti, который показывает, правда, а.п. *b*₁, однако в слав. изредка наблюдается переход деноминативных глаголов из а.п. *b*₂ в а.п. *b*₁, ср. *ženīti).

3. *kērdan* acc. sg. III, 97₈ 'zeit', 'laiko', *kērdan* acc. sg. III, 111₂₀ 'zeit', 'laiku', *en kērdan*

acc. sg. III, 99₁₂ 'bey zeit', 'laike' (≤ **keřdan*) (для балтийского акцентного типа ср. слав. **čerdā*, acc. sg. **čeřdō* > **čerdō* а.п. *b* 'стадо, ряд, череда', слав. **čeřdъ*, gen. sg. **čeřda* > **čerdā* а.п. *b* 'черед', ср. др.-инд. *sárdham* п. 'стадо', см. [6, с. 106–107 и с. 127]).

4. *fwāigſtan* acc. sg. III, 35₁₃ 'ſchein', 'šviesa', 'сияние' (≤ **zwaigſtan*, интонация устанавливается по правилу Фортунатова; для балтийского акцентного типа ср. слав. **gvězdā*, acc. sg. **gvězdō* > **gvězdō* а.п. *b* и лит. *žvaigždė*, сохраняющее 2 а.п. в PD, как довольно редкий вариант: *žwáyзде* nom. sg. 59₁₇, *žwáizdé* nom. sg. 400₈, *žwáizdés* gen. sg. 400₂₃, *žwáizdzių* gen. pl. 590₁₆, полный обзор по DP см. Kudz. II, 482, — и по диалектам, см. [6, с. 105–106]);

5. *prēipīrstans* acc.pl. III, 107₁₁ 'Ringe', 'ziedus' (≤ **piřstans*; для балтийского акцентного типа ср. лит. *piřštas* 'палец, палец ухвата' 2 а.п. повсеместно по диалектам и в литературном языке, ср. также слав. **pьřstъ*, gen. sg. **pьřsta* > **pьřstā*, а.п. *b*, см. [6, с. 52 и с. 128]).

6. *prātin* acc. sg. III, 51₁₃ 'Rath', 'nutarima' (≤ **prātən*; для балтийского акцентного типа ср. лит. *prōtas* 2 а.п. 'Verstand', 'ум, разум; рассудок', литш. *prāts*).

7. *tārin* acc. sg. III, 105₇ 'Stimme', 'balso' (по-видимому, ≤ **tārən*, образование того же типа, что и предшествующее, с удлинением гласного и с переходом в неподвижный акцентный тип).

8. *Quāits* nom. sg. III, 51₅ 'Wille', 'valia', *quāits* nom. sg. III, 51₈ 'Wille', 'valia', *quāits* nom. sg. III, 51₁₇, 51₂₀ 'wille', 'valia', III, 105₄ 'Will', 'valia' (≤ **quāits*), *quāitan* acc. sg. III, 51₁₄, *quāitin* acc. sg. III, 95₁₃ 'willen' ['Willen'], 'valia', *fen... quāitin* acc. sg. III, 95₁₄ 'mit... willen' ['Willen'], 'su... valia' (≤ **quāitən*) (для балтийского акцентного типа ср. др.-инд. *kētaḥ* м. 'Wille, Absicht, Verlangen, Aufforderung, Einladung', 'желание, требование').

9. *fen Wēisin* acc.sg. III, 109₈ 'mit Früchten', 'su vaisiumi' (≤ **meišiən*; для балтийского акцентного типа ср. лит. *vaišius* 2 а.п. 'плод, фрукт').

10. *kārtai* nom.pl. m. III, 93₁₀ 'bitter', 'kartūs' (≤ **kařtai* согласно правилу Фортунатова, но в совр. лит. 3 а.п., т.е. акутированный корневой слог) (для балтийского акцентного типа ср. др.-лит. по DP: *kārtumi* instr. sg. m. 285₂₉, *kārczių* gen. pl. m. 526₉ (Kudz.: 526₉), что может быть истолковано как 1 или 2 а.п., 2 а.п. поддерживается и славянской реконструкцией, где соответствие м. **kořtькъ* > **kortькъ*, ф. **kořtska*, п. **kořtьko* из **kořtь*, неподвижный акцентный тип с балто-славянским циркумфлексом, см. [11, с. 94–107]. Однако в DP засвидетельствованы и формы 3 или 4 а.п.: *kartūssis* nom. sg. m. 178₆; *kartūi* nom. sg. f. 170₄₂; *kartāus* gen. sg. m. 182₃₉, кроме того непонятен акцент в современном литовском, поэтому реконструкция остается ненадежной).

11. *imtā* nom. sg. f. III, 101₂₁ 'genomeu [genomen]', 'imtā' (≤ **imtā*; для балтийского акцентного типа ср. прус. *immimai* III, 83₁₆ '[wir] nemen [nehmen]', 'imate', *ni immimai* III, 33₁₀ '[wir] nicht nemen [nehmen]', 'neimate' (≤ **imīāmai*); *immati* III, 115₁₉ 'nemen', 'imate' (≤ **im(i)štū*), глагол неподвижного акцентного типа, тот же акцентный тип показывает и славянское соответствие, см. часть работы, посвященную прусскому глаголу. В литовском *t*-причастия от первичных глаголов неподвижного акцентного типа сохраняли этот тип еще в DP).

12. *etwerpfnā* nom. sg. III, 75₁₉, 75₂₁ 'vergebung', 'atleidimas', 'отпущение' (для балтийского акцентного типа ср. прус. *etwērpimai* III, 53₂₁ '[wir] verlaſſen', 'atleidziame',

глагол неподвижного акцентного типа, производное от которого должно было иметь также неподвижный акцентный тип, тональная характеристика корневого слога устанавливается по правилу Фортунатова). 13. *Spigfnā* nom.sg. III, 632 'Bad', 'prausimas' (≤ **spigsnā*), *Spīgsnan* acc.sg. III, 634 'Bad', 'prausimā' (≤ **spīgsnan*) (аблаутные отношения указывают на корневое $\bar{i} < *ē$, ср. прус. *specte* E. 'Bad' и *spagtas* gen. sg. III, 1194 'Bades', 'prausimo', *spag|tan* acc. sg. III, 1039–10 '[Wa]l|er|bad', 'prausimā', *spagtun* acc. sg. III, 11919 'Badt', 'prausimā'. Разноместность акцента в приведенных формах может объясняться или подвижным акцентным типом основы, или метатонией при доминантном суффиксе. Принимается доминантность суффикса *-snā*).

14. *Crixtifnā* nom. sg. III, 6121 'tauffe', 'krikštijimas' (≤ **krikštisnā*; основания для принятия 2 а.п. с первичным циркумфлексом предударного слога те же, что и в предыдущем примере).

15. *fen biāfnan* acc. sg. III, 959 'mit furcht', 'su bijojimu' (≤ **bijāsnan*; эта реконструкция построена на тех же основаниях: метатония первично акутированного слога основы глагола подвижного акцентного типа при доминантном суффиксе, подробная аргументация будет приведена в словообразовательной части работы).

16. *En prakāifnan* acc. sg. III, 10514 'Im [schweiß]', 'prakaite' (≤ **prakaīsnan*; неподвижный акцентный тип этого слова может быть просто отражением неподвижного акцентного типа производящего глагола, ср. лит. *kaīsti*, praes. 3. *kaīsta* 'накаляться, нагреваться; потеть; преть, тлеть, перегорать').

Конечноударный акцентный тип из краткостных имен 2 а.п.

1. *Genno* nom. sg. Э. 187 'Wip', 'moteris, žmona' (≤ **gēnō*), *gennas* gen. sg. III, 872 'weibes', 'moteries', *Gennas* gen. sg. III, 10322 'Weibs', 'moters' (≤ **gēnās*), *Gannan* acc. sg. III, 3516 'Weib', 'moterī', *gennan* acc. sg. III, 373, 10115, 10123 'Weib', 'moterī', *Gannan* acc. sg. III, 3518, 10316, 1096 'Weib', 'moterī', *Gannan* acc. sg. III, 417 'Weyb', 'moterī', *Gen|nan* acc. sg. III, 1057–8 'Weibs', 'moteries' (≤ **gēnān*), *prei Gennan* acc. sg. III, 1051 'zum Weibe', 'prie moters', *Gennai* nom. pl. III, 9312 'Weiber', 'moterys', *gannai* nom. pl. III, 10320, 10325 'Weiber', 'moterys' (≤ **gēnāi*), *gennāmans* dat. pl. III, 9311 '[E]he|frawen', 'moterims' (≤ **gēnāmans*), *Gennans* acc.pl. III, 1036 'Weiber', 'moteris', *gennans* acc.pl. III, 935 'Weibern', 'moteris', *gannans* acc. pl. III, 10315 'Weiber', 'moteris' (≤ **gēnāns*) (для балтийского акцентного типа ср. слав. **ženā*, acc.sg. **ženō* > **ženō*, а.п. b).

2. *widdewū* nom. sg. III, 9710 'Widwe', 'našlė' (≤ **wīdėwū*), *Widdewūmans* dat. pl. III, 979 'Widwen', 'našlėms' (≤ **wīdėwūmans*) (для балтийского акцентного типа ср. др.-инд. (RV) *vidhāvā* 'вдова'; слав. **вьдовā*, acc. sg. **вьдовō* > **вьдовō*, а.п. b).

3. *fen isprefnān* acc. sg.⁹ III, 936 'mit vernunft', 'su supratimu' (≤ **ispresnān*; краткостный корень, образование того же типа, что и разобранные в предыдущем разделе под № 12–16, установление акцентного типа возможно лишь при принятии доминантности суффикса *-snā*).

4. *femmē* nom. sg. III, 10517 'Erde', 'žemė' (≤ **žēmē*); *Semmien* acc. sg. III, 1274 'Erden', 'žemė', *femmien* acc. sg. III, 10527 'erden', 'žemė' (≤ **žēmīn*), *prei femman* acc. sg. III, 10515 'zur Erden', 'prie žemės' (≤ **žēmān*), *prei femmien* acc. sg. III, 10517 'zur Erden', 'prie žemės'; *femmai* [ėilai] adv. III, 1213 'vntergehe', 'žemyn [eitu]', *Semmai* adv. III, 12712 'Nider[gefaren]', 'žemyn' (≤ **žēmai*) || *nofemien* III, 2919 'im land', 'ant žemės' (? ≤ **nō*

⁹ О дискуссии по поводу предположения, что в этой форме отразился реликт старого instr. sg., см. [2, S. 83–86].

žēmen), *nofemmien* III, 1073, 123₂₁ 'auff Erden', 'ant žemēs', *nofem|mien* III, 953-4 'auff Erden', 'ant žemēs' (для балтийского акцентного типа ср. лит. литер. *žėmė* (2), *Šl. žėmė* (2); др.-лит. DP *žėme* 2 а.п. так же в памятниках Прусской Литвы и повсеместно по диалектам, см. Иллич-Свитыч, с. 108; указанное Fraenk. 1299 диал. вост.-лит. *žemė* с ссылкой на *Otrębski NTwer* 1, 25 отмечено в этом диалекте лишь у детей: *žemė*, — и, вероятно, является инновацией по *žemėn*, ударение которого, как предположил Я. Отрембский, может быть связано с *žė^amas*, -à 'niski', обычная форма этого диалекта, приводимая им там же (не ясно, насколько употребительная): *žė^amė* 'ziemia').

5. *garrin* асс. sg. 65₂₇ 'Baum', *garrin* асс. sg. III, 1058 'Baum', 'medžio' (≤ **gāriān*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *giria* 2 а.п. 'лес', диал. жемайт. *girė*).

6. *Buttas* gen.sg. III, 85₁₆ 'Hauß[tafel]', 'buto' (≤ **būtās*), *Buttas* gen. sg. III, 95₂₀ 'Hauß[frawen]', 'buto' (опечатка, вместо: *Buttas* ≤ **būtās*), *buttan* асс. sg. III, 35₇ 'Hauß, buta', III, 35₁₂ 'Hauße', 'buto', III, 87₆ 'Hauße', 'butui', III, 97₂₁ 'bute', *buttan* III, 41₆₋₇ 'Hauß', 'buta' (≤ **būtān*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *būtas* 2 а.п. 'квартира');

7. *Peckan* асс. sg. III, 35₁₈, *peckan* асс. sg. III, 37₄ 'Viehe', 'peku' (≤ **pėkān*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. диал. *Šl. pėkus*, gen. sg. *pėkaus* 2 'bydlo', др.-инд. *pāsu-* п. 'мелкий домашний скот', др.-сакс. *fehu*, др.-англ. *feoh* 'Vieh, Besitz, Eigentum', др.-верх.-нем. *feho*, *fihu* 'Vieh', см. [6, с. 62-63]).

8. *Labbas* gen. sg. III, 53₁₄ 'Gut', 'turtu', III, 57₈ 'Guts', 'turto' (≤ **lābās*), *labban* асс. sg. III, 33₁₀, 33₁₂ 'Gut', 'turta', *labban* III, 83₁₆ 'Gūte', 'gerumo' (≤ **lābān*), *labbans* асс. pl. III, 41₈ 'Gūter', 'turtus', *labbans* асс. pl. III, 117₇, 131₂₂ 'Gūter', 'turtu' (≤ **lābāns*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *lābas*, nom. pl. *lābai* 2 а.п. 'благо').

9. *labban* n. III, 89₁₄, 91₁₈, 101₉ 'gut', 'gēra', III, 95₁₆ 'gutes', 'gēra', III, 107₅ 'Gut', 'gēra' (≤ **lābān*), *labbas* gen. sg. III, 35₃ 'guts', 'gero' (≤ **lābās*), *labban* асс. sg. III, 53₁₄ 'frumb', 'tinkama', III, 53₁₅, 53₁₆ 'gut', 'gera', III, 107₇ 'guts', 'gera', *labban* асс. sg. III, 55₁₁ 'wol[thun]', 'gera', III, 37₁₈ 'wol', 'gera', III, 39₆ 'Guts', 'gera', *fen labban* асс. sg. III, 95₁₄ 'mit gutem', 'su gera' (≤ **lābān*), *Labbans* асс. pl. III, 53₁₇ 'gute', 'gerus', *labbans* асс. pl. III, 53₁₄ 'fromme', 'šaunia', III, 93₂ 'fromen', 'geriems' (≤ **lābāns*), *labbai* adv. III, 49₁₆, 51₉, 55₉, 73₃, 77₁₃, 87₂₅, 97₁₃, 97₂₁ 'wol', 'gerai', *labbai* adv. III, 87₆₋₇ 'wol', 'gerai' (≤ **lābāi*), *labban* adv. III, 29₁₈ 'gerai', III, 93₁₅ 'wol[thut]', 'gēra', III, 95₃ 'wol[gehe]', 'gerai' (≤ **lābān*) (по-видимому, прилагательное имело ту же а.п., что и представленное выше существительное: остатки 2 а.п. сохранились еще в DP: *lābasis* nom. sg. m. чл. ф. 540₂₇, *lābai* adv. 72₃₈, *lābāi* adv. (с двумя знаками ударения) 36₂₀, 97₁₅, 320₃₉, 468₃₈, — эта же парадигма отражена в акцентовке форм сравн. степени: *lābesnis* nom. sg. m. 542₃, *lābesne* nom. sg. f. 445₅₀; хотя в целом переход в 4 а.п. уже совершился, см. большой набор форм этой а.п. в DP у Kudz. I, 403-405).

10. *wiffa* nom. sg. f. III, 79₁₆ 'alle', 'visà' (≤ **uīśā*), *wiffas* gen. sg. III, 115₆ 'aller', 'visōs' (≤ **uīśās*), *wiffan* nom.-acc. sg. n. III, 107₃, 107₄, 121₃ 'alles', 'visa', *wiffan* acc. sg. III, 57₂ 'visō', *wiffan* acc. sg. III, 91₁₂ 'allen', 'visā', III, 121₁₇ 'alle', 'visā', III, 125₁₇ 'allem', 'visam', *en wiffan* acc. sg. III, 59₁₄ 'in alle', 'i visā', *en wiffan* acc. sg. III, 91₁₇ 'in aller', 'visame', III, 131₁₂ 'inn allen', 'visoje', *Per wiffan* acc. sg. III, 91₁₅ 'für alle', 'dēl visos', *fen| wiffan* acc. sg. III, 87₇₋₈ 'mit aller', 'su visu' (≤ **uīśān*), *wiffai* nom. pl. m. III, 97₁₇ 'alle', 'visi' (≤ **uīśai*), *wiffeimans* dat. pl. m. III, 39₆ 'allen', 'visiems' (≤ **uīśeimans*), *wiffamans* dat. pl. m. III, 45₁₉, 53₅, 61₅, 'allen', 'visiems', *fen wiffamans* dat. pl. m. III, 45₂₃ 'jambt allen', 'su visais', *fen wiffamans* dat. pl. m. III, 121₁₀ 'mit allen', 'su visais', *fen wiffamans* dat. pl. m. III, 63₁₆₋₁₇ 'mit allen', 'su visomis' (≤ **uīśāmans*), *wiffans* acc. pl. III, 41₄, 41₅, 41₈, 59₁₄, 115₁₇, 119₂₃ 'alle', 'visus', III, 129₁₇ 'alle', 'visās', *wiffans* acc. pl. III, 107₂ 'alles', 'visu', *prei wiffans* acc. pl. III, 97₁₈ 'für alle', 'prie visu', *en wiffans* acc. pl. III, 103₂₆ 'in allen', 'visuose' (≤ **uīśāns*),

pra wiffans acc. pl. III, 85₁₇ 'für allerley', 'dél visu', *per wiffans* acc. pl. III, 91₁₄ 'für alle', 'dél visu', *fen wiffans* acc. pl. III, 133₈ 'mit allen', 'su visais' (≤ **uīšāns*), *wiffai* adv. III, 91₂₃ 'aller', 'visokiam' (≤ **uīšāi*) (для балто-славянского и балтийского акцентного типа ср. слав. **vъsъbъ*, **vъsā*, **vъsē* > **vъsē*, об акцентном типе этого местоименного прилагательного см. [9, с. 36], подробно изучен акцентный тип этого слова в моих работах по «закону Васильева — Долобоко», см. [12; 13]).

А.п. 3

1. *gallū* nom. sg. III, 103₂₂ 'Heupt', 'galva', *gallu* nom. sg. III, 103₂₃ 'Heupt', 'galva' (≤ **galuū*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *galvā*, gen. sg. *galvōs*, acc. sg. *gālvą* 3 а.п. 'голова', лтш. *galva* 'голова' и слав. **golvā*, acc. sg. **gólvo*, а.п. с).

2. *Sālin* acc. sg. III, 105₁₃ 'Kraut', 'žolė' (≤ **zālian*; для балтийского акцентного типа ср. лит. *žolė*, acc. sg. *žolę* 4 а.п. 'трава', Šl. *žolė* 4 'trawa, ziele', то же в др.-лит., см. Kudz. II, 481; лтш. *zāle* 'Gras, Kraut'; в лит. переход из 3 а.п. в 4 а.п.).

3. *fwīrins* acc. pl. III, 107₂ 'Thier', 'žvēriū' (≤ **zūfrins*; для балтийского акцентного типа ср. лит. *žvēris* 3 а.п., лтш. *zvērs* и слав. **zvěрь*, а.п. с).

4. *fīrās* gen. sg. III, 95₁₀ 'hertzen', širdies' (≤ **sfras*), *fīru* dat. sg. III, 115₁₉ 'Hertzen', 'širdies' (≤ **sfru*), *effe fīran* acc. sg. III, 95₁₄ 'von hertzen', 'nuo širdies', *fīran* acc. sg. III, 65₂₃ 'hertzen', 'širdyje' (≤ **sfran*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *širdis*, gen. sg. *širdiės*, acc. sg. *širdį* 3 а.п. 'сердце'; лтш. *sīrds*).

5. *aīnan* acc. sg. m. III, 127₂₀ 'ein', 'vienā' (≤ **ainan*) *ainā* nom. sg. f. III, 61₂₁ 'ein', 'vienas' (≤ **ainā*), *nīainā* nom. sg. f. III, 61₂₀ 'kein', 'nė vienas', *nīainā* nom. sg. f. III, 89₁₈₋₁₉ 'kein', 'nė vienā', *en aīnaffe* gen. sg. III, 115₂₇ 'an eines', 'vieno' (≤ **nīainā*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *vienas* 3 а.п. 'один'; лтш. *viēns* 'eins').

6. *geijwas* gen. sg. m. III, 63₁ 'lebens', 'gyvenimo' (≤ **gfwas*), *gijwans* acc. pl. III, 43₇ 'Lebendigen', 'gyvus' (≤ **gfwas*), *geijwans* acc. pl. III, 126₁₅₋₁₆ 'Lebendigen', 'gyvus' (≤ **gfwas*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *gyvas* 3 а.п. 'живой'; лтш. *dzīvs* 'lebendig; frisch, heil, unverletzt').

7. *vremmans* dat. pl. m. III, 115₉ 'Alten', 'seniems' (≤ *(v)*ūrēmāns*), ср. также acc. pl. m этого слова: *vrans* III, 115₁₂ 'Alten', 'senus' (по-видимому, ≤ *(v)*ūrāns*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. диал. *vorūšis* '(nach Krankheit) geschwächt' Skardž. ŠD 318, для тонирования ср. *vorupė* 'altes Bach-, Flußbett'; приводимое в Fraenk. 1274 тонирование *vōras* ошибочно, см. [14, с. 720, 724]).

А.п. 4

Долготные имена

1. *ālgas* gen. sg. III, 87₁₈, 89₃ 'lohns', 'algos' (≤ **ālgas*; для балтийского акцентного типа ср. лит. *algā*, acc. sg. *ālgą* 'оклад, жалование', 4 а.п.);

2. *Merlgu* nom. sg. III, 67₂₀₋₂₁ 'Magdt', 'merga' (≤ **mergū*); *Mērgan* acc. sg. III, 35₁₈ 'Magt', 'mergā' (≤ **meigan*); *Merlgūmans* dat. pl. III, 95₅₋₆ 'Megden', 'mergomis' (≤ **mergūmans*; для балтийского акцентного типа ср. лит. *mergā*, gen. sg. *mergōs*, acc. sg. *meigą* 'дева, девица; девка', а.п. 4 и так же в др.-лит. по DP);

3. *prei Mārtin* acc. sg. III, 107₁₉ 'Braut', '(prie) marčiai', *mārtan* acc. sg. III, 109₁₀ 'Braut', 'marčiōs' (≤ **mařtan*, для балтийского акцентного типа ср. лит. *marti*, gen. sg. *marčiōs* 'сноха, невестка').

4. *wīrds* nom. sg. III, 61₁₇ 'wort', 'žodis' (≤ **wīrds*), *en|wirdemmans* dat. pl. III, 33₁₋₂ 'inn wortten', 'žodžiuose', *fen wirdemmans* III, 67₇ 'mit wortten', 'su žodžiais' (≤ **wīrdēmāns*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *vařdas* а.п. 4 'имя; название, наименование', Šl. *vař-*

das 4 'имię; nazwa' и так же в др.-лит. по DP: ном. pl. *wardai* 271₁₅, 542_{а9}, *wardai* 271₁₄, acc. pl. *wardús* 259₄₆, 464₃₀, 623₅; при вторичном варианте: ном. pl. *wardai* 621₂₄, gen. pl. *wardu* 532₁₈).

5. *Waikammans* dat. pl. III, 95₅ 'Knechten', 'bernams' (≤ **waikāmāns*; для балтийского акцентного типа ср. лит. *vaikas*, ном. pl. *vaikai* 4 а.п. 'дитя, ребенок; мальчик', так же в др.-лит. по DP: *waikai* 9₃₈, 67₆, 141₉, 142₃, 191₅₁, 306₃₁, 413₄₇, 474₁₄, 549₇, *waykai* 70₂₀, gen. pl. *waikú* 65₄₆, 125₃₀, 192₂, 374₃₇, 396₃₅, 410₃₈, *waikú* 281, dat. pl. *waykamus* 66₄₃).

6. *āufins* acc. pl. III, 41₄ 'Ohren', 'ausis' (≤ **āūsins*, интонация корневого слога устанавливается по правилу Фортунатова; для интонации и для балтийского акцентного типа ср. лит. *ausis*, gen. sg. *ausiēs*, acc. sg. *ausī* 4 а.п. 'ухо')

7. *Tirt* ном. sg. m. III, 29₇ 'Dritte', 'trečias', III, 45₁ 'Dritte', 'trečia', en| *Tirtsmu* dat. sg. III, 63₃₋₄ 'am Dritten', 'trečiame', *Prei Tirtsmu* dat. sg. III, 61₁₃, 105₁₈ 'Zum Dritten', 'prie trečio', En| *tirtan* acc. sg. III, 43₂₋₃ 'Am dritten', 'trečioje', en| *tirtin* acc. sg. III, 37₁₅₋₁₆ 'ins Dritte', 'į trečią', *tirtian* acc. sg., en *tirtian* acc. sg. f. III, 127₁₂ 'am dritten', 'trečioje' (≤ **tīrti* ən) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *trėčias* 4 а.п. 'третий', так же в др.-лит. по DP).

8. *Antrā* ном. sg. f. III, 49₁₃ 'Ander', 'antras' (≤ **antrā*, ān|*tran* acc. sg. m. III, 87₂₃₋₂₄ 'antra' (≤ **añtran*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *añtras* 4 а.п. 'второй, другой').

9. *Piēnctis* ном. sg. m. III, 31₇ 'Fünffte', 'penktas' (≤ **peñkts*), *Pienctā* ном. sg. f. III, 53₁₉ 'Fünffte', 'penktas' (≤ **penktā*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *peñktas* 4 а.п. 'пятый').

10. *mensā* ном. sg. III, 101₁₉ 'Fleisch', 'kūnas' (≤ **mensā*; для балтийского акцентного типа ср. слав. **měso* а.п. с, др.-инд. *māmsām*, герм. **mimzā* 'мясо', см. [6, с. 152]).

11. *kērmens* ном. sg. III, 73₁₅ 'Leib', 'kūnas', III, 75₅ 'Leyb', 'kūnas' (≤ **keřmens*), *kēr|menen* acc. sg. III, 103₁₅₋₁₆ 'Leibe', 'kūnā', *Kērmnen* acc. sg. III, 81₁₇₋₁₈ 'Leib', 'kūnā', *kērmenan* acc. sg. III, 41₃ 'Leyb' (≤ **keřm(e)nən*) (др.-инд. *cārma* п. 'Haut, Fell' не показательно акцентологически из-за генерализации баритонезы в именах ср. р. на -*tan*-; пушту, где такой генерализации, по-видимому, не было, сохраняет окситонезу: афг. *carmān* f. 'шкура, кожа', см. [15, специально с. 100–101]. А.п. показывает и родственное слав. **čěrvo*. О сохранении в балто-славянском двух акцентных типов имен ср. р. на -*ten*- свидетельствуют славянские данные).

Конечноударный акцентный тип из краткосл. имен 4 а.п.

1. *Ackis* ном. pl. III, 83₈ 'Augen', 'akys' (≤ **ākis*), *ackins* acc. pl. III, 41₄ 'Augen', 'akis', III, 95₁₁ 'augen', 'akis' (≤ **ākins*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *akis*, gen. sg. *akiēs*, acc. sg. *ākī* 4 а.п. 'глаз, око').

2. *gallan* acc. sg. III, 43₃ 'Todten', 'mirties', *gallan* acc. sg. III, 115₄ 'Todes', 'mirčiai', *Gallan* acc. sg. III, 115₁₃ 'Todt', 'mirties', *effe gallan* acc. sg. III, 127₁₃ 'von den Todten', 'nuo mirties' (≤ **gālān*), *Gallans* acc. pl. III, 65₂ 'Todten', 'mirčiči' (≤ **gālāns*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *gālas* 4 а.п. 'конец', та же а.п. в др.-лит. по DP).

3. *abbai* ном. pl. III, 99₂₀ 'abu', *abbai* ном. pl. III, 103₁ 'beide', 'abu', (≤ **ābāi*), *prei|abbans* acc. pl. III, 101₂₅₋₂₆ 'zu [jnen] beiden', 'abiejū' (≤ **ābāns*), *abbaien* III, 113₁₉ 'beide', 'ābeja' (для балтийского акцентного типа ср. лит. *abū*, *abī* 'оба, обе', др.-лит. по DP: gen. m. *abieių* 274₄ и др., *abieių* 232₄₄, gen. f. *abieių* 133₂₇, dat. m. *abiēm*, dat. f. *abiēm* и др., см. Kudz. I, 2-3; слав. ном.-acc. du. **ōba*, **ōbě*, gen.-loc. **oboju*, dat.-instr. **oběmā*, см. [11, с. 36]).

4. *Duckti* ном. sg. III, 67₄ 'Tochter', 'duktė', *duckti* ном. sg. III, 93₁₄ 'Töchter', 'duktė' (≤

**dūkti*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *duktė*, gen. sg. *duktešs*, acc. sg. *dūkterį* 3^b а.п. 'дочь', та же а.п. в др.-лит. по DP, а.п. с в славянском).

5. *nacktin* acc. sg. III, 81₁₆ 'nacht', 'nakti', *nacktiŋen* acc. sg. III, 97₁₂₋₁₃ 'nacht', 'nakti' (≤ **nāktiān*; для балтийского акцентного типа ср. лит. *naktis*, gen. sg. *naktiės*, acc. sg. *nāktį* 4 а.п. 'ночь', слав. **nōktь*, а.п. с).

6. *gillin* acc. sg. III, 101₁₂ 'tieffen', 'gilu' (≤ **gilən*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *gilūs* 4 а.п. 'глубокий', та же а.п. в др.-лит. по DP: *gihūs* nom. sg. m. 76₃₃, 34₂₆, 60₁₄₈, *giltaus* gen. sg. m. 289₁₄, *gilós* gen. sg. f. 99₃₄, чд. ф. *gilósios* gen. sg. f. 28₃₉, *gilą* acc. sg. f. 622₃₂, *giląses* acc. pl. f. 517₃₀, а также отражение подвижного акцентного типа в форме ср. степени: *gilėsnis* nom. sg. m. 146₄₁).

7. *kittan* acc. sg. III, 55₂₁ 'ander', 'kitą' (≤ **kitān*), *kittans* acc. pl. III, 27₆ 'andere', 'kitus' (≤ **kitāns*) (для балтийского акцентного типа ср. лит. *kitas* 4 а.п. 'другой; иной; второй').

8. *ginnis* nom. pl. III, 113₉, 123₈ 'Freunde', 'draugai' (≤ **ginis*), *ginnins* acc. pl. III, 53₁₇ 'Freunde', 'draugus' (≤ **ginins*) (словообразовательные отношения в прусском как будто указывают на первичный подвижный акцентный тип этого слова, ср. *ginnewīngiſkan* adv. III, 113₁₀ 'freundtlich', 'draugiškai'; но ср. др.-лит. акцентовку глагола, с корнем которого связывают это имя: в DP praes. 3. sg. *užgėma* 585₃₁, *užgėma* 520₆ 'narodzić się' [совр. лит. praes. 3.sg. *užgimsta*, inf. *užgimti* 'родиться'], т.е. неподвижный акц. тип, не навязанный морфологическим классом; производное от такого глагола скорее всего должно иметь неподвижную а.п.; поэтому реконструкция остается ненадежной).

Таким образом, в настоящее время удастся распределить большую группу прусских словоформ по балтийским акцентным типам. Если отвлечься от прусского акцентного типа, который мы определили как конечноударный, то для представления о судьбе балтийских акцентных типов в прусском будут релевантны, в основном, формы nom. sg. f. *ā*-основ и формы dat. pl. m. и f. *o*- и *ā*-основ, сопоставление этих форм с формами acc. sg. уточнит характер этих типов: подвижность ~ неподвижность или окситонеза ~ баритонеза, о позициях действия закона де Соссюра, возможно, дает информацию сопоставление форм nom. sg. f. *ā*-основ и acc. pl. Выпишем их здесь по парадигмам:

А.п. 1

nom. sg. f. *ā*-основ. **salūbsna*, **powakšsna*, **enteikūsna*

nom. sg. f. *ē/iā*-основ **mūti*

gen. sg. **tāwas*, **mīlas*, **dīlas*, **grīkas*

acc. sg. *ā*-основ **gīdan*

acc. sg. f. *ē/iā*-основ **iūriān*,

acc. sg. m. *ā*-основ **tāwan*, **wīran*, **mīlan*

nom. pl. **wīrai*, **grīkai*

dat. pl. m. *ā*-основ **wīrāmans*

acc. pl. m. *ā*-основ **tāwāns*, **wīrāns*, **dīlāns*, **grīkāns*, **kāulāns*

А.п. 2

Долгосложные

nom. sg. f. *ā*-основ **imtā*, **mādlā*, **etwerpsnā*, **spigsnā*

acc. sg. f. *ā*-основ **rañkan*, **mādlān*, **zuaigstan*, **spigsnan*, ? **keřdan*

acc. sg. m. *ā*-основ **prātān*, **tārān*, **quāitān*, ? **keřdan*

nom. pl. **kařtai*

dat. pl. m. Для поведения акцентовки долготных имен 2 а.п. в незафиксированном dat. pl. m. ср. *fwāimans* dat. pl. III, 87₁₃ 'jren', 'saviems' (≤ **swāimans*, циркумфлекс устанавливается по правилу Фортунатова).

acc. pl. f. *ā*-основ **rañkans*

Краткосложные

nom. sg. f. *ā*-основ *gēnō, *wīdēwū
nom. sg. f. *ē/iā*-основ *zēmē,
gen. sg. *gēnās, *būtās, *lābās, *uīsās
acc. sg. f. *ā*-основ *gēnān, *isprēsān
acc. sg. f. *ē/iā*-основ *zēmiān, *gārīān
acc. sg. m. *ā*-основ *lābān, *pēkān, *uīsān, *būtān
nom. pl. *gēnai, *uīsai
dat. pl. f. *ā*-основ *genāmans, uīdēwūmans
dat. pl. m. *ā*-основ *uīsāmans,
acc. pl. f. *ā*-основ *gēnāns
acc. pl. m. *ā*-основ *lābāns, *uīsāns

А.п. 3

nom. sg. f. *ā*-основ gallū, ainā, niainā
gen. sg. *sīras, *gīwas
acc. sg. f. *ē/iā*-основ *zāliān
acc. sg. m. *ā*-основ *āinan, *sīran
dat. pl. m. *ā*-основ *(u)ūrāmāns
acc. pl. m. *ā*-основ *gīwāns

А.п. 4

Долгосложные

nom. sg. f. *ā*-основ *mergū, *mensā, *antrā, *penktā
gen. sg. *algas
acc. sg. f. *ā*-основ *meīgan,
acc. sg. f. *ē/iā*-основ *tīrtiān, *mārtiān
acc. sg. m. *ā*-основ *aītran
dat. pl. f. *ā*-основ mergūmans
dat. pl. m. *ā*-основ *uaikēmāns, *uirdēmāns
acc. pl. f. *ī*-основ *aūsins

Краткосложные

nom. sg. f. *ē/iā*-основ *dūkti
acc. sg. m. *ā*-основ *gālān, *kītān
nom. pl. *ābāi,
acc. pl. m. *ā*-основ *gālāns, *kītāns, *ābāns,
acc. pl. f. *ī*-основ *ākins

Таким образом, представленный материал указывает на сохранение в прусском противопоставления подвижного и неподвижного акцентных типов долготными акутированными и циркумфлектированными именами, которые как и в литовском были распределены на четыре акцентных парадигмы. Все краткостные двусложные имена совпали в одном конечноударном типе. Вероятно, ударение с конечных циркумфлектированных слогов было перенесено на предшествующий слог, что объясняет безударность окончания gen. sg. *-as* и, возможно, gen. pl. *-an* и nom. pl. *-ai* в подвижном акцентном типе. Если это верно и не было других, специфических, оттяжек с конечных акутированных слогов, принятию которых препятствует ударение на окончании *-ā* в nom. sg. f. *ā*-основ 2, 3 и 4 акцентной парадигм, приходится считать, что прусский отражает то состояние балтийского, когда закон де Соссюра действовал исключительно в позиции перед доминан-

тным акутом (или в случае, если акцентуационная валентность ударного слога не была выше акцентуационной валентности акутированного слога), подробно об этой трактовке закона де Соссюра см. [16; 17; 18].

СОКРАЩЕНИЯ

III — третий прусский Катехизис — *Enchiridion* цитируется по изданию: *Mažiulis, V. Prūsų kalbos paminklai*. Т. I, II. Vilnius, 1966, 1981.

BB — *Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen*, hgb. Ad. Bezzenberger. Berlin, 1877-1906.

DP — *Postilla Catholica* (Vilniuje 1599), цитируется по изданию *Daukšos Postilė. Fotografuotinis leidimas*. Kaunas, 1926.

Fraenk. — *Fraenkel, E. Litauisches etymologisches Wörterbuch*. Bd. I, II. Heidelberg, 1962, 1965.

Kudz. — *Kudzinowski, Cz. Indeks-słownik do "Daukšos Postilė"*, Т. I (A–N), Т. II (O–Ž). Poznań, 1977.

Otrębski NTwer 1 — *Otrębski, Jan. Wschodniolitewskie narzecze twereckie, część I, Gramatyka*. Kraków, 1934.

Škardž. ŽD — *Škardžius, Pr. Lietuvių kalbos žodžių daryba*. Vilnius, 1943.

Šl — *Šlapelis, J. Kirčiuotas lenkiškas lietuvių kalbos žodynas. Antroji laida*. Vilnius, 1940.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Fortunatov, F. Über Accent und Länge in den baltischen Sprachen. I: Der Accent im Preussischen*. // *BB*. XXII, 1897.

2. *Van Wijk, N. Altpreussische Studien. Beiträge zur baltischen und zur vergleichenden indogermanischen Grammatik*. Haag, 1918.

3. *Stang Chr. S. Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen*. Oslo — Bergen — Tromsø, 1966.

4. *Van Wijk, N. Die baltischen und slavischen Akzent- und Intonationssysteme. Ein Beitrag zur Erforschung der baltisch-slavischen Verwandtschaftsverhältnisse*. 'S-Gravenhage, 1958 (1 издание: Amsterdam, 1923).

5. *Stang Chr. S. Slavonic accentuation*. Oslo, 1957.

6. *Ильич-Свистыч, В.М. Именная акцентуация в балтийском и славянском. Судьба акцентуационных парадигм*. М., 1963.

7. *Kortlandt, F. Old Prussian accentuation*. // *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung*. Bd. 88.

8. *Pirmoji prūsų knyga*. Vilnius, 1995.

9. *Топоров, В.Н. Прусский язык: Словарь*. А–D. М., 1975, Е–Н. М., 1979, I–K. М., 1980, K–L. М., 1984, L. М., 1990.

10. *Mažiulis, V. Prūsų kalbos etimologijos žodynas*. Т. 1 А–Н. Vilnius, 1988, т. 2 I–K. Vilnius, 1993, т. 3 L–P. Vilnius, 1996.

11. *Дыбо В.А. Славянская акцентология. Опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском*. М., 1981.

12. *Дыбо В.А. Закон Васильева — Долобо в древнерусском (на материале Чудовского Нового Завета)*. // *International journal of Slavic linguistics and poetics*. The Hague, 1975. Vol. XVII, 1.

13. *Дыбо В.А. Именное ударение в среднеболгарском и закон Васильева - Долобо*. // *СБЯ. Англичкая балканистика и сравнительная грамматика*. М., 1977.

14. *Vilga, K. Rinktiniai raštai*. Т. II. Vilnius, 1959.

15. *Дыбо В.А. Афганское ударение и его значение для индоевропейской и балто-славянской акцентологии*. // *Балто-славянские исследования*. М., 1974.

16. *Дыбо В.А. Новые данные по диалектологии среднеболгарских акцентных систем*. // *Русистика. Славистика. Индоевропеистика. Сборник к 60-летию Андрея Анатольевича Зализняка*. М., 1996. С. 356–382.

17. *Дыбо В.А. Из балто-славянской акцентологии. Проблема закона Фортунатова и поправка к закону Ф. де Соссюра*. // *Балто-славянские исследования (в печати)*.

18. *Дыбо В.А., Замятина Г.И., Николаев С.Л. Основы славянской акцентологии. Словарь*. Вып. 1. М., 1993. С. 7–18.



© 1998 г. ЦЕЙТЛИН Р.М.

О ДРЕВНИХ СЛАВЯНСКИХ СЛОВАХ МЫСЛЬ, МЫСЛИТИ И МЪНѢТИ, МЪНИТИ

В 1963 г. была опубликована небольшая статья Владимира Николаевича Топорова "К этимологии слав. *myslʹ*" [1. С. 5–13]. Автор в ней подчеркивает неудовлетворенность этимологического анализа сопоставлением "отдельных слов из других языков без учета их места в частных подсистемах и их внутренних связей; в свою очередь такая произвольность в выделении слов, подлежащих сопоставлению, повлекла за собой недостоверность семантического обоснования сравниваемых слов" [1. С. 5]. Далее утверждается: "в группе слов со значением 'думать', 'мыслить', 'иметь мнение' около половины всех примеров так или иначе восходит к индоевропейскому корню *men-*" [1. С. 7]. Ср. подробный перечень слов с данным корнем в различных индоевропейских языках [2. С. 813]. В своей статье В.Н. Топоров в числе отдельных примеров из индоевропейских языков указывает и ст.-сл. **мънѣти, мънити**.

Настоящие заметки подсказаны этим тезисом. Они посвящены одному частному вопросу – семантическому анализу древних славянских глаголов **мънѣти** и **мънити** с их префиксальными образованиями в составе соответствующих славянских лексико-семантических групп с корнями **-мън-** и **-мѣн-**. Определение значений слов, относящихся к указанным группам, представляет известные трудности. В лексикологических и лексикографических трудах по истории слов, составляющих эти группы, они толкуются современными словами-переводами, в которых, как правило, не акцентируется их живая смысловая связь со словами **мысль, мыслити** и их производными, которая почти утрачена их современными продолжениями типа *мнение*. В результате эти слова (**мънѣти, мънити** и их производные) переводятся современными лексемами типа "считать", "решить", которые по смыслу вторичны и применимы по отношению к соответствующим толкуемым древним словам только в ряду "размышлять, думать; приходит к определенному суждению, мнению, выводу в результате мышления, обдумывания".

Примечательно, что слова *дума* и его однокоренные не засвидетельствованы в старославянских словарях (СлСР и других) и даже в СЯС, включающем тексты по XVI в. Русск. *дума* и его производные отмечены в рукописях с XIII–XIV вв. (Сл.Ав.,

Цейтлин Раля Михайловна – д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник, консультант Института славяноведения РАН.

т. III, С. 98–99). Ср. соответствующее употребление слова *duma* и его производных в истории других славянских языков по материалам Линде (т. I, С. 556–557)¹.

В старославянском языке **-мысл-** известно с девятью приставками: **до-**, **за-**, **нєсть-**, **по-**, **при-**, **про-**, **раз-**, **сѣ-**, **оу-**, а также с начальным **ино-**. Слово **мысль** употребляется 38 раз (СлСР), его основные греческие соответствия – *διάνοια*, *νοῦς*; *λογισμός*, *διαλογισμός*. У ст.-сл. **мыслити** (28 употреблений, СлСР) основные греческие соответствия – *λογίζεσθαι*, *διαλογίζεσθαι*, *δοκεῖν*, *φρονεῖν*.

МЫСЛЬ.

Первое значение: "мысль, разум, образ мыслей". Например: **възлюбнши г҃а ба твоего. въсѣмъ ср҃дцемъ твоимъ. и въсеи дш҃еи своеи. и въсеи мысли твои** Мт 22,37 Мар Ас: Зогр-б; Остр; Ник (СЯС, II, 248); Мст; Бан; *Budeš milovati hospodina boha tvého ze všeho srdce svého a ze vše duše tvé a za vše myslí tvé* Мт 22,37 Олом Дрезд; **сѣвѣтъ же г҃нъ въ вѣкѣ прѣбываетъ. мысли ср҃дѣца его въ родъ и родъ** Пс 32,11 Син; Пог Бол Пар Лоб (СЯС, II, 248); *Ale rada Hospodinova na věky bydlí a myšlenie s(i)rdce jeho ot pokolenie až do pokolenie* Виттб.пс., С. 93.

Второе значение: "мысль, результат размышления, соображение". Например: **вѣды же нѣтъ. мысли имъ и рече имъ** Мт 12,25 Зогр Мар; Бан; *Ale Ježiš věda myšlenie jich povědě jim* Олом Дрезд; **разоумѣвши жена. мариѣ въ инж мысль приде** Супр 242,1.

МЫСЛИТИ.

Первое значение: "мыслить, думать, размышлять". Например: **что мните въ сєбѣ маловѣри. ꙗко хлѣбъ не възаете** Мт 16,8 Зогр. Мар; ...**маловѣрни** Бан; Вук; *Co myslíte mezi sobú o chlebu, malé viery, že chleba nemáte?* Олом Дрезд; **о немже беспрестани мыслить** Бес 31,211ва 10 (СЯС, II, С. 247). Ср.: **помыслѣтъ пѣти мѡѡ** Пс 118,59; Син; *myslil jsem cesty mé* Виттб. пс., С. 232.

Второе значение: "замышлять". Например: **толѣка добра винника погоубити мыслѣтъ** Супр 386,24; **да постыдятъ мыслѣши мнѣ зѣлаа** Пс 34,24; Син; Нор; *již myslé mné zlé* Виттб.пс., С. 96.

Ср. **промыслъ** *прѡноѡ* 'предвидение, провидение'. Например: **промыслѡмъ вѣжикѡмъ. хоташтинѡмъ чловѣчьскыи родъ съспасти** Супр 539,30; **промыслъ есть мысль вѣжия** Ио.екз.Болг. (Сл. XI–XVII вв., вып. 20, С. 170); **ничѣсо же ве-строѡ ни бес промысла вѣжия не бываетъ на земли** Изб. 1076 г., С. 519.

Древние славянские **мнѣти**, **мѣнити**, *mnietí*, *mienítí* и их производные семантически непосредственно соотносятся с соответствующими лексемами с корнем **-мысл-**.

МНѢТИ.

Первое значение: "поразмыслив, рассудив, прийти к мнению, суждению". Например: **Ис же рече о смрѣти его. они же мнѣша. ꙗко о оуспении сѣна глѣтъ** И 11,13 Зогр Мар Ас Сав; Остр Мст; Бан Добром; Супр 313, 25–26; ...*pověděl Ježiš ...mněchu* Олом Дрезд (*ἐδοξάν ...λέγει*; *putaverunt ...diceret* Мерк, 352). Ср. Вост., I, 222; II, 255; СлСР, 339; *i mněch bych rozuměl* Пс 72,16 Виттб.пс., С. 153; **и непштевахъ разоумѣти** Пс 72,16 Син; Нор; Бол Лоб Пар (СЯС, II, 397). Примечательно современное чешское: *Přemýšlel jsem... vyznat*. Ср. **непцевати** (и в том же значении **пцевати!**): Фасмер, III, 64; Сл. XI–XVII вв., вып. 11, С. 261–262;

¹ Список принятых условных сокращений названий рукописей и словарей прилагается. Примеры из древнейших дошедших до нашего времени чешских библейских рукописей (впервые опубликованы в 80-е годы нашего века) приводятся по Виттенбергской псалтыри (1350–1360); по Дрезденскому евангелию (70–80-е годы XIV в.), по Оломоуцкому евангелию (нач. XV в.), по Оломоуцкому апостолу (XIV в.). При лексических совпадениях текст дается по Оломоуцкой библии. Дрезденский список – при отличиях.

Сл. 1847 г., III, С. 583 и II, С. 248. Ср.: (не) мните јако приндъ разорити закона или пррѣкъ... Мт 5,17 Деч и Nerod'te mnieti, že bych přišel... Олом Дрезд.

Второе значение: "думать, полагать, считать кого-либо, что-либо кем-либо, чем-либо". Например: ни влъка овьцѣ мнѣвъше оудени вждемъ Хил 2ба 9–10; Болк вогатѣство мнѣвъ егуптьскыхъ съкровищъ поношеник хѣво Евр. 11,26 Христ (СЯС, II, С. 255); непѣщевавъ Охр Слепч Мак Шиш (СЯС, II, С. 255); za lepšie bohatstvie vāžē... Олом; да не кто мннить ма везоума выти 2 Кор 11,16 Христ Слепч Шиш (СЯС, II, С. 255); sbý někto nemněl bych byl nemúdr Олом Дрезд (ср. везоума – немждръ); и пришедъше пръвни мнѣбахъ са ваште прияти Мт 20, 10 Мар Ас; мнѣхъ са Сав; Зогр-б; Остр Мет; hadachu sie Дрезд, нет в Олом. Примечательно гадати 'думать, размышлять'. Ср.: и девелитъ земьнок тѣло. оумъ многомыслыни и кдѣва гадакѣмъ јаже на земли...а јаже на нѣси кѣто ислѣдитъ. Изб. 1073 г. 20в 3. Ср. др.-русск. *гадати* 'думать, размышлять' (см. Вост. I, 80; Сл. XI–XVII вв., вып. 4, С. 6); 'советоваться' (Сл. Ав., I, 314), 'предсказывать' (Изб. 1073 г.). Ср. Геб. II, 26–27; ср. современное чешское 'предполагать, думать, соображать'. Ср. Линде, II, 12–14 в значении 'говорить' в славянских языках. См. Фасмер, I, 381; ЭССЯ, 6, 77–79; Скок, I, 555. См. *гатати* 'пророчествовать' (СЯС, I, 391). Знаменательны семантические связи мнѣти, мѣнити, гатати, глаголати. На связи понятия "мысль" и понятий "слово", "говорение", "речь" указывает и В.Н. Топоров в названной статье [I, С. 12]. Ср. мннимо ксть 'иметь в мыслях', мннить са 'мыслится, думается'. Ср. помнѣти 'хранить в мыслях'. Например: помнните слово еже азъ рѣхъ вамъ И 15,20 Зогр Мар Ас Сав; vzpomínajte па mi řeč Олом Дрезд. Ср. памать 'что хранится в мыслях'.

МѢНИТИ.

Первое значение: "держатъ, сохранять в мыслях, в уме; помнить, упоминать; называть". Например: не мѣнить злаго Обих. церк. XIII в. (Сл. XI–XVII вв., вып. 9, С. 86); святын же: иже бога вѣдый истиннаго... не мѣнить о смерти ВМЧ. XVI в. (там же).

Второе значение: "иметь мнение, думать, полагать; судить о ком-чем либо, считать кого-что кем-чем". Например: влаженъ мжжъ емоу же не вѣмѣнить гъ грѣха Пс 31,2 Син; Нор; Пог Бол Лоб Пар (СЯС, I, 304); ...jemuž nečte Hospodin hřiecha Виттб.пс., С. 91; кѣде ксть сестра твоя иже ты мѣниши дѣвѣжъ сжитъ Супр 4,16; примѣненъ выхъ съ низъходяштинми въ ровъ Пс 87,5 Син; Нор; Пог Бол Лоб Пар (СЯС, III, 290, где толкование "причислили" менее точно, чем "подумали, сочли!"); přimiejen jsem Виттб. пс., С. 178; ги чѣто есть члвкъ тѣко съказа са емоу. ли снъ члчъ тѣко вѣмѣниши и Пс 143,3 Син² (С. 26); Пог Бол Лоб Пар (СЯС, II, С. 304); že tbaš na něho Виттб.пс., С. 261.

На примерах анализа употребления нескольких древних славянских слов, входящих в лексико-семантические группы -мн- и -мѣн-, в сопоставлении с опорными словами сопредельной лексико-семантической группы -мысл- мы стремились расширить приемы и возможности уточнения значения древнего слова при ограниченных рукописных источниках времени и ареала его употребления.

СОКРАЩЕНИЯ

Ас – Ассеманиево евангелие: *Kurz J. Evangeliař Assemanův*. Praha, 1955.

Бан. – Банишко евангелие. Среднобългарски паметник от XIII в. Подгот. за печат Ек. Дограмаджиева. София, 1981.

Бол. – Болонская псалтырь: *Jagić V. Psalterium Bononiense*. 1907.

Виттб.пс. – Виттенбергская псалтырь: *Vintr J. Die älteste tschische Psalterübersetzung*. Wien, 1986.

- Вост. – *Востоков А.Х.* Словарь церковнославянского языка. СПб., 1858. Т. I; 1861.
- Т. II.
- Врач. – *Врачанское евангелие: Цонев Б.* Врачанско евангелие. София, 1914.
- Вук. – *Врана J.* Вуканово еванђеље. Београд, 1967.
- Гиб. – *Gebauer J.* Slovník staročeský. Praha, 1970.
- Деч. – *Дечанское евангелие* (см. Мар).
- Добром. – *Добромирово евангелие.* Български паметник от началото на XII век. Подготви за изд. Б. Велчева. София, 1975.
- Дрезд. – *Дрезденское евангелие.* Дрезденский апостол см. Олом.
- Евх. – *Синайский евхологий: Nahtigal R.* Euchologium Sinaiticum. Ljubljana, 1942.
- Зогр. – *Зографское евангелие: Jagić V.* Quattuor evangelium. Berolini, 1979.
- Изб. 1073 г. – *Симеонов сборник.* Исследования и текст. София, 1993. Т. I.
- Изб. 1076 г. – *Изборник 1076 г.* М., 1965.
- Клоц. – *Клоцов сборник: Dostál A.* Clozianus. Praha, 1959.
- Линде – *Linde S.B.* Słownik języka polskiego. Lwów, 1854. Т. I; 1855. Т. II; 1857.
- Т. III.
- Мар. – *Ягич И.В.* Мариинское четвероевангелие. Graz, 1960.
- Мерк. – *Novum Testamentum graece et latine.* Romae, 1984.
- Мст. – *Мстиславо евангелие: Апракос Мстислава Великого.* М., 1983.
- Нор. – *Норовская псалтырь.* София, 1989. Т. II.
- Олом. – *Оломоуцкое евангелие: Staročeská Bible Drážďanská a Olomoucká.* Vydal V. Kuas. Praha, 1981; 1985.
- Остр. – *Востоков А.* Остромирово евангелие. СПб., 1843.
- Сав. – *Щепкин В.Н.* Саввина книга. СПб., 1903.
- Син. – *Северьянов С.Н.* Синайская псалтырь. Пг, 1922.
- Син². – *Psalterium Sinaitici pars nova (monasterii s. Catharinae codex slav. 2/N).* Sub redactione Francisci V. Mareš. Wien, 1997.
- Скок – *Skok P.* Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb. 1971. Т. 1; 1972. Т. 2.
- Сл.Ав. – *Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.).* Гл. ред. Р.И. Аванесов. М., 1988. Т. I и след.
- Сл.Ак.Рос. – *Словарь Академии Российской по азбучному порядку расположенный.* В 6-ти ч. СПб., 1806–1822.
- Сл.1847. – *Словарь русского и церковнославянского языка.* В 4-х т. СПб., 1847.
- Сл.ХI–ХVII вв. – *Словарь русского языка XI–XVII вв.* М., 1975 и след.
- СлСр – *Старославянский словарь (по рукописям X–XI вв.).* М., 1994.
- Срезн. – *Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893. Т. 1; 1902. Т. 2; 1912. Т. 3.
- Супр. – *Заимов И., Капалдо М.* Супрасълски или Ретков сборник. София, 1982. Т. 1; 1983. Т. 2.
- СЯС – *Slovník jazyka staroslověnsého.* Praha, Т. 1; 1968. Т. 2; 1973. Т. 3; 1982. Т. 4; 1997.
- Фасмер. – *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. В 4-х т. М., 1964; 1967; 1971; 1973.
- Хил. – *Хиландарские листки.* Кульбакин С.М. СПб., 1900.
- ЭССЯ – *Этимологический словарь славянских языков.* Под ред. О.Н. Трубачева. М., 1974–1994.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Топоров В.Н.* К этимологии слав. *myslъ* // *Этимология.* М., 1963.
2. *Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984.



© 1998 г. СМИРНОВ Л.Н.

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВАЦКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

В истории словацкого литературного языка 40-е годы XIX в. занимают очень важное место. Именно тогда, на кульминационном этапе словацкого национального возрождения в культурной жизни словаков произошло событие, в значительной мере определившее дальнейшие судьбы словацкой нации, формирование которой в рамках Венгерского королевства происходило с большими трудностями. Благодаря будительской, нормализаторской и кодификаторской деятельности Людовита Штура и его сторонников в общественно-культурную практику был введен *новый* вариант литературного словацкого языка ("штуровщина"). Этому литературному языку предстояло сменить, с одной стороны, традиционный чешский литературный язык, используемый словаками с конца XIV в. в качестве письменного, и, с другой стороны, первый вариант литературного словацкого языка, который в конце XVIII в. был кодифицирован Антоном Бернолаком ("бернолаковщина") и принят словацкими католиками (подробнее об этом см. [1]).

По замыслу Л. Штура новый литературный язык должен был стать важным фактором преодоления раскола словацкого национального движения на два основных течения: католическое и протестантское, объединения всех национально-патриотических сил словаков перед лицом усиливающейся мадьяризаторской политики венгерских властей. Создание нового литературного языка словаков было органически связано с процессом формирования словацкой национальной идеологии и культуры [2], с развитием и укреплением национального самосознания словаков, которое к началу 40-х годов обрело все более четкие очертания на фоне прежних представлений о принадлежности словаков к "чехословацкой" или "славянской" общности. В идеологической платформе многих представителей словацкого национально-возрожденческого движения того времени концепция славянской взаимности, представленная в сочинениях Я. Коллара и П.Й. Шафарика, была тесно связана с русофильскими взглядами. Для них Россия выступала прежде всего как могучая славянская страна, свободная от национального гнета. Важное значение придавалось ими также большой роли русской литературы и культуры в развитии славянской культуры.

Языковая реформа Л. Штура затронула сложный клубок болезненных вопросов словацко-венгерских и словацко-чешских отношений, она коснулась также ряда проб-

Смирнов Лев Никандрович – д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.

дем внутрисловацкого характера (идеологических, конфессиональных и языковых). Естественно, что она была встречена современниками далеко не однозначно. Диапазон ее оценок был весьма широким: от восторженно-положительных до крайне отрицательных. Венгерские власти считали, что эта реформа подрывает венгерскую государственность, что она является отражением панславистских тенденций и т.п. Отрицательную реакцию штуровское начинание вызвало и у ряда деятелей чешского национального движения, которые не хотели признавать самостоятельность словацкого литературного языка. Штуровцам пришлось вести длительную и напряженную борьбу, доказывая необходимость и правильность предпринятого ими шага и разъясняя смысл и значение реформы [3; 4]. В орбиту жарких дискуссий, разгоревшихся по поводу нового литературного языка, оказались невольно втянутыми и первые русские слависты, которые в конце 30-х–начале 40-х годов путешествовали по славянским странам.

Ниже мы остановимся на этом примечательном эпизоде из истории литературного словацкого языка и русско-словацких научных связей.

Известно, что в 1835 г. в четырех российских университетах (Московском, Петербургском, Харьковском и Казанском) были учреждены кафедры истории и литературы славянских наречий. Чтобы подготовить для них профессоров, Министерство народного просвещения направило за границу молодых русских ученых (О.М. Бодянского, П.И. Прейса, И.И. Срезневского и несколько позднее В.И. Григоровича). Они должны были изучать историю, культуру, литературу и языки западных и южных славян. Их поездки по славянским землям Австрийской империи и Европейской Турции принесли большую пользу и способствовали развитию отечественного славяноведения. Первым русским славистам удалось собрать ценный и разнообразный материал (включая древние славянские рукописи), изучить богатую научную литературу, установить тесные научные связи со многими зарубежными славистами. Они могли в живом контакте с местным населением изучать языки и диалекты, записывать народные песни, сказки и т.д.

В 1837–1842 гг. О.М. Бодянский, И.И. Срезневский и П.И. Прейс наряду с другими странами посетили Словакию, где познакомились с видными деятелями словацкого национально-возрожденческого движения: Л. Штуром, М.М. Годжей, Й.М. Гурбаном и др. Словаки оказывали им теплый дружеский прием. Однако тесное общение первых русских славистов со словаками вызывало подозрительность венгерских властей, опасавшихся усиления русофильских настроений и распространения "панславистских" идей. С другой стороны, эти контакты и дружеские отношения не всегда находили понимание в кругах чешских возрожденцев, особенно тех, кто выступал против языковой реформы Л. Штура. Именно там зародились слухи о якобы подстрекательской деятельности русских славистов.

В 1915 г. В.А. Францев писал об этом: "...чисто научные связи наших молодых ученых со словаками получили в Праге совершенно неожиданное истолкование и странную окраску" [5. С. 2]. Дело в том, что на страницах "Пражской газеты" ("Pražské Noviny", 1846. Č. 14–21) чешский поэт, публицист и журналист К. Гавличек-Боровский опубликовал статью "Славянин и чех", в которой писал: "Я лично узнал в Словакии и убедился, что два русских профессора Б. и С., путешествуя по словенской (т.е. словацкой. – Л.С.) области, побуждали словаков отделиться от нас чехов в литературе и создать свою самостоятельную литературу, при чем доказывали словакам, что язык их многим лучше и более славянский (slovanštější), чем чешский, что каждое славянское племя должно развиваться самостоятельно и т.д. И все это, разумеется, внушалось из братской любви, но никак не в духе принципа: *divide et impera*" (цит. по: [5. С. 3]). Подобные обвинения получили распространение в чешском обществе, хотя и не всеми воспринимались как правдивые. В июле 1846 г. П.И. Шафарик в письме О.М. Бодянскому сообщает: "Литературных новостей у нас в настоящее время мало. Между словаками и чехами произошел разрыв и наступило раздвоение в литературе, начались острые схватки – к счастью, пером и чернилами, а

не мечом и кровью. Общая молва приписывает семя, зародыш и вину этого разрыва, между прочим, и вам, Срезневскому, покойному Прейсу и т.д. Разумеется, это смешно и несправедливо" [6. S. 103]. Такова была позиция видного слависта, современника происходивших событий и к тому же противника штуровской реформы.

Тем не менее и в дальнейшем данный вопрос неоднократно рассматривался в литературе. Так, в 1913 г. была опубликована статья Е. Турцеровой "Контакты славянофилов со словаками и их влияние на разрыв словаков с чехами" [7], в которой снова превратно интерпретировалась деятельность первых русских славистов в Словакии. При этом здесь, кроме О.М. Бодянского, И.И. Срезневского и П.И. Прейса, упоминался также М.П. Погодин. Особенно жесткой критике автор подвергает О.М. Бодянского. Она пишет: "Бодянский, вместо того, чтобы осуждать словацкие сепаратистские тенденции, которые начали проявляться, и бороться с ними, усиливал их" [7. S. 347]. Его влияние Турцера усматривает прежде всего в том, что он, согласно своей славянофильской теории считал, что каждое славянское племя может подготовиться к будущему духовному объединению всех славянских народов только при помощи своего собственного языка. Она обвиняет О.М. Бодянского в том, что он отделял словацкий язык от чешского и ставил оба эти языка на одну ступень, в то время как сами чехи продолжали считать словацкий язык наречием чешского языка. Приведя в конце статьи упомянутую выше цитату из письма П.И. Шафарика, автор безапелляционно утверждает: "Общая молва была права" [7. S. 350]. Правда, она оговаривается, что в 40-е годы XIX в. национальные страсти были настолько сильны, что неудивительно, если русским славистам "приписали больше, чем они сделали" [7. S. 350].

Отголоски подобных мнений о роли первых русских славистов в проведении языковой реформы Штура встречались и позднее. Известный словацкий ученый и литератор Й. Шкультеты в письме адвокату М. Иванке от 14 X 1917 г., высказывая свое отношение к книге русского философа и публициста Н.Я. Данилевского "Россия и Европа" (1869), попутно замечает, что русские слависты, начиная со Срезневского, отделяли словаков от чехов, что сам Срезневский помогал штуровцам, "подкреплял их позицию своими, новыми аргументами" [8], однако, здесь не говорится, какие это были аргументы. Достаточно сдержанную позицию по данному вопросу занимал чешский историк литературы А. Пражак. В книге по истории литературного словацкого языка он подчеркивает, что Бодянский, Срезневский и Прейс не скрывали от словаков своего удивления специфическими чертами их языка, народного искусства и самого народа, и приходит к выводу, что "вероятно это оказывало влияние на идею становления словацкой самостоятельности" [9].

Наконец, следует отметить, что современный отечественный исследователь О. Малевич в содержательной статье, посвященной анализу откликов на деятельность Л. Штура в русском обществе, которая была опубликована в 1959 г., по данному вопросу фактически снова склоняется к позиции Гавличека-Боровского. Говоря о контактах И.И. Срезневского и О.М. Бодянского со штуровцами, он пишет: "...Гавличек по-видимому не без оснований писал о том, что они подстрекали словаков создавать свою собственную литературу и поддерживали право каждого славянского племени на самостоятельное развитие" [10]. В доказательство этого автор приводит, в частности, цитату из письма Л. Штура И.И. Срезневскому (Вена, 15 XII 1850), которая, на наш взгляд, свидетельствует скорее о другом, ср.: "Я не знаю, но мы думаем, что Вы там на севере соглашались с нами, ибо дело наше было и есть чисто славянское" [11]. Как видим, Л. Штур не был уверен, а лишь *предполагал* ("я не знаю", "мы думаем"), что русские слависты были согласны с проводимой им реформой. Примечательно, что буквально теми же словами Л. Штур высказывает свое предположение об отношении русских славистов к введению нового словацкого литературного языка и в письме О.М. Бодянскому, посланном из Вены в тот же день [12].

Обвинения в адрес первых русских славистов, выдвинутые К. Гавличком-Боровским, были проанализированы В.А. Францевым [5; 13]. Он высказал предположение,

что молодые русские ученые могли смотреть на вопрос о самостоятельности словацкого литературного языка "глазами Штура", что они сочувствовали штуровскому начинанию, но подчеркнул, что от этого "далеко еще до интриг против чехов" [5. С. 3]. Кроме того, оспаривая мнение К. Гавличка-Боровского, он привел следующий аргумент: если бы Срезневский, Бодянский и Прейс действительно были инициаторами штуровской реформы, то вряд ли бы Штур считал нужным сообщать своему другу Срезневскому через два года после его отъезда в Россию о намерении ввести новый литературный язык и доказывать ему необходимость и оправданность создания самостоятельного словацкого литературного языка [5. С. 5]¹. По мнению В.А. Францева, весь рассказ Гавличка об интригах русских ученых, о подстрекательстве ими словаков против чехов "есть или плод излишней подозрительности, ...или же злая мистификация" [5. С. 3].

К соображениям, высказанным В.А. Францевым, можно добавить следующее. Во-первых, ни О.М. Бодянский, ни И.И. Срезневский не доказывали словакам, что их язык лучше чешского. Они оба проявляли большой интерес к изучению чешского и словацкого языков, но никогда не противопоставляли их по признаку "лучше"/"хуже". В этом отношении К. Гавличек-Боровский скорее мог бы упрекнуть Я. Коллара, который в 1822 г. в статье "Мысли о благозвучности языков..." говорил, например, о большей благозвучности словацкого языка по сравнению с чешским [14], а во введении к сборнику "Светские песни словацкого народа в Венгрии" (1823) отмечал, что словацкий язык во многих отношениях превосходит чешский [15]. Во-вторых, первые русские слависты действительно признавали право каждого славянского племени самостоятельно развиваться в рамках славянства как целого. В этом плане они большую роль придавали языку как выразителю национальной специфики. Подобные взгляды не представляли для штуровцев чего-то нового. Во всяком случае они не могли служить для них своего рода "подказкой", каким-то новым доводом.

Напомним, что основным исходным импульсом к созданию самостоятельного литературного языка словаков явилось осознание словацкой интеллигенцией национальной сущности своего народа и его языка. Это отчетливо проявилось еще в конце XVIII в. на начальном этапе словацкого национально-возрожденческого процесса, в частности, в языковой реформе А. Бернолака. В принципиальном плане штуровское поколение продолжало дело, начатое бернолаковцами. Л. Штур писал: "К этой идее, идее поднять словацкий язык в ранг литературного... прорубали и пробивали нам дорогу замечательный наш Бернолак и его последователи" [16]. В 30-е–40-е годы в кругах словацкой патриотической интеллигенции обеих конфессий идея самостоятельности словаков и самостоятельности их языка получила широкое признание.

Штуровцы в философско-мировоззренческом плане первоначально находились под сильным влиянием концепции Я. Коллара о славянской взаимности, однако в начале 40-х годов они творчески переосмыслили это учение, отказались от колларовского понимания славянского народа как целого, состоящего из четырех основных "племен" (русского, польского, чехословацкого и иллирийского), а также от идеи "чехословацкого племени". В рамках единого славянского народа Л. Штур выделял уже одиннадцать "племен", в том числе и словацкое, со своими отдельными языками. Он считал, что все они имеют право на самостоятельное национально-культурное развитие. В связи с этим Штур писал: "Славянская взаимность – это солнце, восходящее над нашим славянским миром, который долго-долго был окутан черными тучами; и как солнце всё согревает и дает жизнь каждой былинке, так и солнце нашей взаимности

¹ Добавим к этому, что П.И. Шафарик сообщал и другому "виновнику" – О.М. Бодянскому – о событиях, связанных с подготовкой реформы. 6 июня 1844 г. он ему пишет: "...Я вижу, что Штур и с ним некоторые другие хотят ввести новшества в литературный язык для словаков" [6. С. 81]. В письме от 18 сентября 1844 г. он сообщает о выходе из печати альманаха "Нитра" "уже с новой орфографией и новым литературным языком" [6. С. 83].

светит всем славянским полям и каждому цветку на этих полях помогает вырасти и полностью расцвести" [17]. Исходя из такого понимания общего и частного, Л. Штур сформулировал главный аргумент своей реформы – тезис о национальной самобытности словаков и самостоятельности их языка. В этом отношении ему были не нужны дополнительные импульсы со стороны русских ученых².

Вопрос о роли О.М. Бодянского и И.И. Срезневского в создании литературного словацкого языка был затронут также в книге известного отечественного словакиста Н.А. Кондрашова [19]. По его мнению, на словацкую молодежь мог оказывать влияние интерес русских ученых к словацкому языку. Он отметил также совпадение взглядов штуровцев и русских славистов по ряду вопросов, и вместе с тем подчеркнул, что нет "никаких документов, которые показывали бы, что русские слависты содействовали чешско-словацкому расколу или вообще обострению взаимоотношений этих двух близких народов" [19. С. 76]. Общий вывод автора представляется убедительным: "...ни Бодянский, ни Срезневский не были и не могли быть инициаторами языковой реформы, проведенной Штуром и штуровцами" [19. С. 77].

Однако ни В.А. Францев, ни Н.А. Кондрашов почему-то не отреагировали на статью Е. Турцеровой. Между тем, ее позиция также нуждается в критическом осмыслении.

Прежде всего несколько слов по поводу "славянофильских" взглядов и "панславистских" убеждений О.М. Бодянского, которые, по мнению Е. Турцевой, определяли его "раскольничью" деятельность среди словаков. Заметим, что из всех упомянутых ею русских ученых только М.П. Погодин принадлежал к лагерю славянофилов. О.М. Бодянский не был славянофилом в строгом смысле слова (так же, как И.И. Срезневский и П.И. Прейс), хотя по некоторым вопросам его этико-философская позиция была близка славянофильской. Взгляды О.М. Бодянского носили национально-романтический характер, ему не были чужды мотивы идеализации прошлого славян, он признавал их этноязыковую и культурную общность, во многом разделял романтические идеи "всеславяинства", которые развивали ранние славянофилы³. Он был далек от панславизма в политическом смысле, и поэтому приписывать ему имперские устремления совершенно неверно. Как удачно подметила болгарская исследовательница Л. Минкова, Бодянский, который всю свою жизнь посвятил науке о славянах и благородной идее их взаимного познания во имя единства, никогда и нигде не говорит о гегемонии Российской империи, "всегда и везде выступает за независимость отдельных славянских народов, за расцвет их культуры" [21. С. 88]. Более того, Л. Минкова подчеркивала, что у него выработался "стойкий иммунитет" против панславизма" [21. С. 88].

Другое обвинение Е. Турцеровой связано с позицией О.М. Бодянского по вопросу о соотношении чешского и словацкого языков. Он действительно признавал самостоятельность словацкого языка. Эта его научная позиция, естественно, импонировала штуровскому окружению. Однако она не могла явиться побудительной причиной языковой реформы Штура. В кругах словацкой возрожденческой интеллигенции подобное понимание статуса словацкого языка имело глубокие корни, что нашло отражение еще у бернолаковцев. К началу 40-х годов оно получило достаточно широкое распространение и признание. В этом отношении для штуровцев важным импульсом было то, что еще в книге П.И. Шафарика "История славянского языка и литературы по всем наречиям", изданной на немецком языке в 1826 г., словацкое наречие описывалось как самостоятельное в ряду других славянских наречий.

² Попутно отметим, что, например, взгляды И.И. Срезневского по вопросу о статусе словацкого языка претерпели определенную эволюцию: если в 40-х–50-х годах он считал его самостоятельным языком, то в 60-х–70-х годах признавал его диалектом "чехословенского" наречия, что нашло отражение в лекциях, которые он читал студентам [18].

³ Например, И.С. Аксаков считал, что "всеславянство" "не существует ни как политическая партия, ни как политическая программа, ни даже как политический идеал", оно проявляется как "сознание славянской общности и единоплеменности" [20].

Как было показано, К. Гавличек-Боровский и позднее Е. Турцера предвзято и тенденциозно интерпретировали контакты первых русских славистов с деятелями национально-возрожденческого движения словаков. Они явно преувеличивали их роль в процессе становления литературного словацкого языка, в подготовке шуруповской языковой реформы. И, конечно, явно несостоятельны обвинения русских славистов в подстрекательской античешской деятельности. Можно лишь признать, что О.М. Бодянский, И.И. Срезневский и П.И. Прейс симпатизировали шуруповцам, во многом разделяли их взгляды на прошлое славян, на перспективы славянства в целом и отдельных славянских народов, на важность и необходимость их духовного единства и культурного сотрудничества. В этом смысле они в какой-то мере оказывали представителям шуруповского поколения моральную поддержку.

Следует отметить, что при рассмотрении данного вопроса совсем не упоминается четвертый представитель плеяды первых русских славистов – В.И. Григорович. Однако его позиция по отношению к шуруповскому нововведению также представляет определенный интерес. Во время своего путешествия по славянским землям В.И. Григорович основное внимание уделял, как известно, изучению южных славян, их истории, литературы и языков. Наряду с этим он проявлял значительный интерес также к чешскому и словацкому языкам. В.И. Григорович приехал в Братиславу (Прессбург) в конце сентября 1846 г., т.е. в самый разгар осуществления шуруповской реформы и связанных с этим острых дискуссий. В своих сообщениях из Братиславы он, естественно, не мог не отреагировать на эти события. В "Донесениях" о путешествии В.И. Григорович писал, что по прибытии в Прессбург он "вступил в новую сферу изучений". Он сразу же отметил, что преобладающее население северной Венгрии словацкое, близкое по языку к чешскому. В интересующем нас аспекте показательны следующие его высказывания: "Стремление некоторых молодых ученых сего племени обрабатывать его язык для словесности отдельно от чешского – всего более ознаменовало себя в Прессбурге" [22. С. 246]. И далее: "Познакомившись с проф. Палковичем, удерживающим в своих сочинениях чешский язык, и с г. Носаком, товарищем г. Штура, отдающего словацкий язык от чешского, принял к сведению несколько явлений сего неодобрительного разделения, надеюсь при изучении чешской литературы в Праге пояснить себе лучше отношения двух наречий" [22. С. 246]. Примечательно, что в отличие от О.М. Бодянского, И.И. Срезневского и П.И. Прейса отношение В.И. Григоровича к шуруповской реформе было более сдержанным, скорее отрицательным, чем положительным. Однако, как мы видим, выслушав сторонников и противников шуруповского начинания, он счел необходимым глубже разобраться в этом вопросе.

Хотелось бы в заключение обратить внимание на один момент, который до сих пор не акцентировался. По нашему мнению, обвинения, о которых шла речь, были направлены не столько против русских славистов, сколько против самих шуруповцев. В сущности этими обвинениями наносился замаскированный удар по шуруповской реформе: делалась попытка доказать, что она является не результатом длительного объективно-исторического процесса становления словацкой нации, а всего лишь субъективным, произвольным решением, к тому же принятым под чужим влиянием. Историческая реальность была, как известно, иной. Сам Л. Штур неоднократно указывал на самостоятельный характер проводимой реформы, подчеркивал ее мотивированность потребностями национально-культурного развития словацкого народа, а не какими-то внешними обстоятельствами. Он призывал каждого словака освоить ту "святую истину", что никто им не поможет и не уберезет от упадка, кроме их самих. "Эта твердая, непоколебимая вера в нас самих, в наши силы..., – писал Л. Штур, – выражена теперь в нашем самом новом стремлении, в стремлении просветить и возвысить наш народ при помощи нашего собственного наречия, языка наших предков" [23]. При этом он подчеркивал: "Но пусть никто не думает, что мы это сделали по чьему-то желанию, нет, ...мы это сделали лишь ради нас самих, ради нашей жизни и нашего единства" [24].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Смирнов Л.Н.* Формирование словацкого литературного языка в эпоху национального возрождения (1780–1848) // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978. С. 86–157.
2. *Матула В.* К вопросу формирования концепции национальной культуры словаков в эпоху национального возрождения // History and Society. Published on the occasion of the XVIth International Congress of Historical Sciences in Stuttgart 1985. Prague, 1985. С. 381–401.
3. *Кондрашов Н.А.* Борьба за победу словацкого литературного языка // Ученые зап. МОПИ им. Н.К. Крупской. Т. 228. Русский язык. Вып. 15. М., 1969. С. 318–328.
4. *Смирнов Л.Н.* Отражение в литературно-языковой сфере борьбы за консолидацию словацкой нации (середина XIX в.) // Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1981. С. 197–211.
5. *Францев В.А.* Чешско-словенский раскол и его отголоски в литературе сороковых годов. Памяти Людевита Штура. 1815–1915. Варшава, 1915.
6. *Korespondence Pavla Josefa Šafaříka.* Vydal V.A. Francev. I. Vzájemné dopisy P.J. Šafaříka s ruskými učenci (1825–1861). Čast I. V Praze, 1927.
7. *Dr. H.T. [Turcerová H.]* Styky slavianofilov so Slovákmi a ich vplyv na odtrhnutie Slovákov od Čechov // Prúdy. Revue Mladého Slovenska. Roč. IV. 1913. Čís. 9. S. 345–350.
8. *Listy Josefa Skultétyho.* 2. 1911–1941. Matica slovenská. Pripravil M. Kocák. 1983. S. 31.
9. *Pražák A.* Dějiny spisovné slovenštiny po dobu Štúrova. Praha, 1922. S. 360.
10. *Malevič O.* Znalosti ruskej predrevolučnej spoločnosti o živote a činnosti Ľudovíta Štúra // Z dejín československo-slovanských vzťahov. (Slovanské štúdie II.) Bratislava, 1959. S. 346.
11. *Listy Ľudovíta Štúra.* II. 1844–1855. Pre tlač pripravil a poznámky napísal J. Ambruš. Bratislava, 1956. S. 237.
12. *Matula V.* Listy Ľ. Štúra O.M. Bod'anskemu // Historický časopis. Roč. 38. 1990. Čís. 4. S. 570.
13. *Francev V.A.* Štúrovo "schisma" a jeho jhlasy // Časopis pro moderní filologii. IV. 1914. S. 92–105, 201–212.
14. *Kollár J.* Myšlénky o libozwučnosti řečj wúbec, obzvláště českoslowanské // Krok. Djl prwnj. W Praze, 1822. S. 32–37.
15. *Kollár J., Šafárik P.J.* Piesne svetské j'udu slovenského v Uhorsku. Diel prvý a druhý. Bratislava, 1988.
16. *Štúr Ľ.* Hlas k rodákom // Orol Tatránski. V Prešporuku. 1845. Čís. 6. S. 50.
17. *Štúr Ľ.* Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí. Turč. sv. Martin, 1943. S.246.
18. *Досталь М.Ю.* Проблемы чешской и словацкой филологии и истории в лекционных курсах И.И. Срезневского // Общественно-политические движения в Центральной Европе в XIX–начале XX в. М., 1974. С. 390–391.
19. *Kondrašov N.A.* Vznik a začiatky spisovnej slovenčiny. Bratislava, 1974.
20. *Аксаков И.С.* Соч., т. 1. М., 1886. С. 554–555.
21. *Минкова Л.* Осип Максимович Бодянски и Българското възраждане. София, 1978.
22. *Донесения В.И. Григоровича об его путешествии по славянским землям.* Казань, 1915.
23. *Štúr Ľ.* Neopúšťajme sa! // Štúr Ľ. Slovo na čase. Úvahy a články. Diel II. Turč. sv. Martin, 1941. S.114.
24. *Štúr Ľ.* Panslavizmus a naša krajina // Štúr Ľ. Slovo na čase. Úvahy a články. Diel II. Turč. sv. Martin, 1941. S. 239.



© 1998 г. ВЕНЕДИКТОВ Г.К.

У ИСТОКОВ СТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВОГО СТИЛЯ СОВРЕМЕННОГО БОЛГАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

В большом потоке научной литературы второй половины истекающего столетия, посвященной истории современного болгарского литературного языка, исследования проблем формирования и развития функциональных стилей этого языка занимают пока еще довольно скромное место. Если же говорить о формировании стиля делового, который в существующей литературе называется и официально-деловым, административным, административно-деловым, канцелярско-административным и др., то его изучению посвящено небольшое число работ, среди которых выделяется серия статей Хр. Пырвева [1–5], где исследуется язык административно-юридических изданий эпохи национально-культурного возрождения Болгарии. Анализ языка отдельных документов данного жанра посвящены также статьи К. Вачковой и В. Узуновой [6; 7], Б. Николаева [8], Р. Русинова [9]. Можно сказать, что к настоящему времени установлен довольно значительный список опубликованных документов той поры, связанных с организацией и функционированием разных культурных центров (школы, просветительские общества и др.), общественно-политических комитетов. Язык этих документов – богатейшая база для исследования истории складывания и развития современного литературного языка в целом и его делового стиля в частности. Но исследована эта база еще слабо.

В существующей литературе утвердилось мнение, что начало создания делового стиля современного болгарского литературного языка было положено публикацией в 1841 г. перевода Гюльханейского хатта – известного султанского указа о равенстве прав для всех подданных Османской империи [10]. Перевод этот был сделан Калистом Луковым и отредактирован известным деятелем Возрождения Неофитом Рильским. Утвердилось также мнение, что деловой стиль современного болгарского литературного языка складывался и развивался под сильным влиянием церковнославянского и русского языков. При этом признается, что разграничение влияния этих языков крайне затруднительно, и потому об их влиянии обычно говорится нерасчлененно – как о церковнославянско-русском. Вместе с тем вопросу о русском влиянии на формирование делового стиля до недавнего времени уделялось явно мало внимания. Хр.

Венедиктов Григорий Куприянович – д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Пырвев, более других ученых занимавшийся изучением этого вопроса, пишет: "Кто знает, однако, почему роль русского языка в обособлении административного стиля болгарского национального языка оставалась без внимания наших исследователей, равно как незаслуженно были пренебрегнуты административно-документальные литературно-языковые проявления" [5. С. 79]. Хр. Пырвев не сомневается, что здесь имеет место "незаслуженная недооценка и пренебрежительное отношение к явлениям, процессам и фактам, прямо связанным с формированием нашего литературного языка" [5. С. 79].

В приведенных словах Хр. Пырвева как будто просматривается упрек в сознательном игнорировании исследователями возрожденческих документов административно-юридического характера, сыгравших существенную роль в общем процессе создания литературного языка. Очевидно, что о явном пренебрежении такого рода документами можно было бы говорить, если иметь в виду конкретных исследователей. Этого ведь нельзя сказать о тех ученых, которые – и Хр. Пырвев в их числе – ряд своих трудов посвятили анализу языка такого рода материалов, поставив его в общий контекст начальной истории формирования литературного языка. Но общая оценка, которую дает Хр. Пырвев современному состоянию изученности истории делового стиля и роли русского языка в его формировании, справедлива. Подтверждением этому может служить тот факт, что в фундаментальной "Истории новоболгарского литературного языка", подготовленной в Институте болгарского языка БАН, специальных разделов или параграфов, посвященных формированию делового и других стилей, нет [11]. Отсутствие таких разделов особенно заметно на фоне того, что в вышедшей несколькими годами ранее вторым изданием "Истории новоболгарского литературного языка" Р. Русинова краткая характеристика формирования отдельных стилей (научно-популярного, публицистического, художественного) дается в специальных параграфах [12. С. 202–218].

Сказанным выше определяется повышенный интерес, который вызывает небольшая книжка или брошюра, известная в библиографических описаниях болгарских изданий под названием на русском языке "Инструкция об обязанностях сельских приказов". Она была издана в 1821 г. в Кишиневе и предназначалась для административно-правового и хозяйственного регулирования жизни болгар-переселенцев в Бессарабии, где они оказались после русско-турецких войн XVIII–XIX вв. Составлена она была, скорее всего, по распоряжению главного попечителя колонистов Южного края России генерала И.Н. Инзова кем-либо из служащих его канцелярии, но не исключается и авторство самого генерала. Особый интерес историков болгарского языка эта "Инструкция" вызывает по ряду причин: во-первых, она имеет самый ранний печатный текст административно-юридического содержания на болгарском языке; во-вторых, она отражает административно-канцелярские и прочие реалии жизни болгар в России, а не на Балканах, что наложило известный отпечаток на особенности болгарского языка в ней; во-третьих, болгарский текст здесь это – перевод с оригинала на русском языке, и оба текста – оригинал и перевод – отпечатаны параллельно, что значительно облегчает изучение особенностей языка перевода.

Исследователям истории современного болгарского литературного языка текст рассматриваемой "Инструкции" остается неизвестным. Практически он не был предметом специального изучения, если не считать беглых замечаний автора этих строк о нескольких употребленных в нем словах (*връзка*, *император*, *попечител*, *смет*, *самодержец*; последнее слово с досадной опiskой или опечаткой – *самодержавец*), которыми современными исследователями неосмотрительно относимых к авторским новообразованиям ряда возрожденцев более позднего времени [13. С. 13, 15, 27, 30]. Причина этого проста: "Инструкция" давно стала исключительной библиографической редкостью. Один экземпляр ее хранится в настоящее время в Одесской государственной научной библиотеке, о чем ученые-болгаристы, очевидно, не знают. Вполне возможно, что это единственный экземпляр, доживший до наших дней. Именно по этому экземпляру было дано описание "Инструкции" в изданном в 1901 г. 1-м томе

"Каталога Одесской городской публичной библиотеки", где впервые в литературе было приведено на русском языке ее полное название [14. С. 111. № 1140].

К сожалению, нам не удалось познакомиться с данным экземпляром "Инструкции" de visu. Поэтому мы не можем сказать о ее формате и о том, какой текст заглавия – полный или сокращенный – приведен на ее обложке (вероятно, мягкой) равно как и о том, есть ли на обложке какие-либо другие сведения об этом издании. Все остальное, что говорится ниже об "Инструкции", основано на изучении фотоотпечатков ее с микрофильма, вторично полученного нами из Одесской библиотеки в 1986 г. Поскольку об этом редчайшем издании известно сейчас очень мало, целесообразно сообщить о нем некоторые данные.

Прежде всего надо сказать, что весь текст "Инструкции" напечатан старой (церковной) кириллицей параллельно на русском и болгарском языках: русский текст (оригинал) – на левых страницах разворота, болгарский текст (перевод) – на правых страницах разворота. Обе страницы имеют одну и ту же пагинацию с буквенными обозначениями страниц от 1 до 18 (последняя страница болгарского текста пронумерована ошибочно – 19 вместо 18). Объем текста на каждом из языков – около одного печатного листа (примерно 37 000 – 38 000 знаков). На правой странице последнего разворота под болгарским текстом и чертой указаны следующие важные сведения о времени и месте издания "Инструкции": "Печатано в Кишиневской Духовной Типографии, в октябре 1821 года". Самому тексту "Инструкции" предшествует подробное оглавление ее разделов и параграфов, напечатанное в две колонки на русском и болгарском языках на трех страницах первого и второго не нумерованных разворотов.

Поскольку болгарское название "Инструкции" в современной литературе неизвестно, приводим его здесь в том виде, как оно в ней напечатано – церковной кириллицей, опустив лишь знаки придыхания. Параллельно приводим и напечатанное такой же кириллицей название на русском языке. Ср.:

ИНСТРУКЦІА

Въ обязанностихъ Сельскихъ Приказовъ, съ пояснѣніемъ порядка, какъ должны управлѣться, и наблюдать за поселянами своей деревни, чегѡ ѡ нихъ требовать, съ симъ вмѣстѣ изложены для жителей правила, какъ вести себя, и чегѡ придерживаться, для достиженія благоустройства и покойной жизни.

ИНСТРУКЦІА

Заради долгата на Приказѣтъ сѣлски сасъ явеніатъ рѣтъ, какъ трѣбова дасѡ управа и давѡрди засѡбите сѣлани, каквѡ ѡтахъ трѣбѡва даище, сасъ това заеднѡе показано правило, какъ да управлѣ себѣси и защѡ дасѡ държѡ дамѡже дадостигнѣ добрѡ оустроеніе испоконни живѡтъ.

Ниже иллюстративный материал из русского и болгарского текстов передается средствами современной графики (гражданской кириллицей); слитные написания слов с проклитиками и энклитиками в болгарском тексте, как и некоторые другие особенности его письма, приведены в соответствие с принятыми в современном литературном языке правилами.

Кем был сделан перевод "Инструкции" с русского языка на болгарский, неизвестно. Вряд ли могут быть какие-либо сомнения в том, что его сделал скорее всего кто-то из болгар, живших в Кишиневе или в одном из болгарских сел Бессарабии. Высказанное нами почти 20 лет назад предположение о том, что перевод этот мог быть сделан Михаилом Кифаловым, работавшим в начале 20-х годов в Кишиневе "переводчиком

Верховного совета" [15. С. 254. Сноска 31], до сих пор остается только предположением. Можно, однако, с уверенностью утверждать, что переводчик "Инструкции" был бесспорно уроженцем Восточной Болгарии. Об этом свидетельствуют прежде всего широко отраженная в переводе сильная редукция безударных гласных и другие особенности диалектов этой части Болгарии. Тщательный анализ таких особенностей позволяет, как нам кажется, соотнести язык перевода с определенным болгарским диалектом и определить область, откуда может происходить неизвестный переводчик "Инструкции". Но это предмет отдельной статьи.

Переводчик, судя по всему, не был особенно опытным книжником. Сложный, перегруженный громоздкими синтаксическими конструкциями, со множеством специальной для такого рода документов лексикой и по всему этому местами мало-вразумительный, текст оригинала поставил перед ним немало трудностей, и не со всеми он сумел справиться. Его перевод показывает, что в немалом числе случаев он испытывал затруднения с пониманием русского текста, следствием чего оказались неточные и даже просто ошибочные переводы некоторых мест оригинала. Надо иметь в виду, что неизвестный переводчик не мог опереться на опыт какого-либо своего предшественника по той причине, что никаких предшественников в переводе с русского языка административно-юридических материалов у него не было. Он был первый, кто оказался у самых истоков становления делового стиля современного болгарского литературного языка. Он был первый, кому пришлось перевести на болгарский язык для опубликования столь объемный документ административно-правового содержания.

О том, что трудности с переводом "Инструкции" вообще и ее лексики в особенности были значительны, можно судить по тому, что писал по такому же поводу С. Радулов в начале 60-х годов, т.е. через 40 с лишним лет после выхода в свет "Инструкции". Он перевел с русского языка на болгарский правительственные постановления о болгарских колониях и издал их в 1864 г. в виде сборника, оставив в его языке много непереуведенных русских слов. Вот как С. Радулов объяснял наличие таких слов в его переводе. «Так как этот перевод, – писал он в предисловии к этому сборнику, – делается только для колонистов, то многие слова в нем оставлены на русском языке ("по русски"): одни – потому что мы не могли найти соответствующих болгарских юридических слов; другие – потому что в народе они уже вошли в употребление через управление и имеют определенное значение, так что, если бы они были заменены другими, возникло бы недоразумение» [16. С. V]. Если С. Радулов, многоопытный учитель Болградской гимназии и автор ряда изданных до 1864 г. книг на болгарском языке, не мог найти болгарских соответствий русским "юридическим словам", то безвестному болгарину справиться с переводом этих и многих других русских слов, употребленных в "Инструкции", было несравненно сложнее. Важно отметить, что С. Радулов намеренно оставил без перевода русские слова, закрепившиеся к 60-м годам в речи болгар-переселенцев. Очевидно, что какая-то часть русских слов, вошедших в перевод "Инструкции", тоже уже была в живом употреблении болгарских переселенцев, так что переводчик мог их почерпнуть из речи своих соплеменников в Бессарабии и перенести их в болгарский текст этого документа. Но очевидно также и то, что немалую долю русизмов в данном тексте составляют такие слова, которые переводчик в чистом виде или с известной болгаризацией перенес непосредственно из русского текста "Инструкции".

В основу языка перевода положена живая болгарская речь. В нем последовательно отражены такие особенности народной речи болгар, как аналитическое склонение, наличие членной морфемы, аналитические формы степеней сравнения прилагательных, глагольные *да*-конструкции, отсутствие старого инфинитива на *-ти*, формы будущего времени с частицей *ще* и многие другие особенности морфологии и синтаксиса. Болгарский текст "Инструкции" широко отражает особенности звукового строя, характерные для восточноболгарского наречия, в частности уже упомянутую выше сильную редукцию безударных гласных, якавое и екавое произношение гласного на

месте ъ, наличие звука ъ на месте старого юса большого и многие другие яркие звуковые явления народной речи. Лексическую базу болгарского перевода "Инструкции" составляют слова народной речи.

В качестве образца приведем § 10 "Инструкции", который регламентирует порядок работы Сельского приказа в болгарских селах:

"Сѣлскіяѣ зѣповедъ сѣречъ, избрѣнїяѣ [в тексте опечатка: избрѣнїяѣ] сѣсъ стѣростити и сѣсъ сѣлскїяѣ пїсарь длѣжни са да сѣ збїратъ прїсъ сѣка нїдѣля по двѣ пѣти, а имено въ срѣда и въ сѣбота отъ утренѣта до обѣдъ, въ усобїтїяѣ дѣмъ кѣиту трѣбова да бѣди направѣнъ сѣсъ общѣствени хѣрчъ кѣту за твѣ ше да бѣди направїнъ вѣсрѣтъ силѣту и тѣмъ щѣтъ да сѣ производѣтъ, и да сѣ разглѣдуватъ сїчкити рѣботи каквїту сѣ слѣчатъ мїждѣ жїтельцити" (С. 5).

Обратимся теперь к краткому описанию некоторых особенностей лексики болгарского текста "Инструкции". Отметим прежде всего сравнительно небольшое число употребленных в нем турецких заимствований. Это в основном слова, вошедшие в обиходную речь болгар. Таковы *буклѣкъ* 16 (навоз)¹, *одаїти* 8 (комнаты), *бахчїи* 8 (сады), *бѣнтувети* 16 (гребле), *хѣрчъ* 5 (*иждивение*), *хергилиджїи* 12 (табунщики), *окабахатени* 15 (провинившиеся); ср. также ряд турцизмов, употребленных и в русском тексте: *хармани* 18 (гарманы), *димирлїи* 18 (демерлии), *окї* 18 (оки). По-видимому из народной речи вошло в текст перевода и слово *ваде* 'срок': *вадѣ* 12 (термин).

Есть в переводе и небольшое число греческих заимствований, например: *хоратѣ* 3 (слова), *аргѣте* 11 (наемные работники), *мартѣурїя* 5 (свидетельство), *макаръ* 8 (по крайней мере), *сапикасанъ* 7 (замечен), *хїлѣду* 13 (тысяча).

Ограниченное число турцизмов здесь (их гораздо меньше, чем в изученном Хр. Пырвевым болгарском переводе Гюльханейского хатта [З. С. 157–159]) объясняется главным образом тем обстоятельством, что в русском оригинале "Инструкции", регламентирующей административную деятельность местных властей и жителей болгарских сел в России, нет наименований административно-правовых и других реалий Османской империи, которые бы требовали употребления соответствующих турецких заимствований. Любопытно, что в болгарском переводе "Инструкции" нет примеров использования в скобках турецких слов для пояснения русизмов.

В отличие от турецких заимствований русские в рассматриваемом тексте представлены очень большим числом слов. Особенно интересны из них те, которые отражают местную специфику административного правового устройства жизни болгарских переселенцев. Это прежде всего наименования местных органов власти и различных учреждений: *сѣлски зѣповедъ* 6 и др. (сельский приказ) и просто *зѣповедатъ* 17 (приказ), *окрѣжнїяѣ зѣповедъ* 12 (окружной приказ), *громѣдата* 8 (*громеда* 'мирской сбор'), *сѣдѣвїцнїяѣ дѣмъ* 5 (судная изба), *сѣлски сѣдъ* 5 (сельский суд), *канцїлѣрїяѣ попечїтелева* 13 (канцелярия попечителя), *кантѣратъ* 3 (кантора); административные единицы: *окрѣгѣвїти* 13 (округа), *Бессарѣбскїяѣ областъ* 11 (Бессарабская область); должностные лица: *попечїтеляѣтъ* 13 (попечитель), *вїборнїяѣтъ* 4 (выборный), *стѣростити* 5 (старосты), *старшїнѣта* 6 (старшина), *сѣлскїяѣтъ пїсарь* 4 (сельский писарь), *начѣлнїци* 4 (начальники), *начѣлствуту* 13 (начальство), *повисѣкуту начѣлству* 9 (высшее начальство); ср. и титул российского императора: *Семїлѣстївїяѣтъ Нѣшатъ Царь Имперѣторъ* 1 (Всемилолюбивѣйшїй Государь Император Наш).

Разнообразны наименования жителей: *колонїстїти* 13 (колонисты), *прїслѣнцї* 1 (переселенцы), *отвѣдѣнавскї прїслѣнцї* 3 (задунайские переселенцы) и *отвѣдѣнѣйскїти прїслѣнцї* 1 (то же), *поселѣнецъ* 5 (из поселян) и др. Отметим, что часто встречающееся в русском тексте слово *жители* во всех случаях переведено как

¹ Число после болгарского слова указывает страницу, на которой употреблено это слово. В скобках приводится соответствующее русское слово в оригинале.

жителци и реже в написани *жителици*: *жителцити* 6, *постояннити жителци* 9, *жителцити* 5.

В болгарском тексте "Инструкции" есть и много других интересных лексических материалов, представляющих собой прямые заимствования из русского языка или эквиваленты русских слов, почерпнутые переводчиком из лексических ресурсов болгарского языка. Они относятся к обозначениям как разного рода конкретных реалий жизни болгар на новых землях и ее административного обеспечения, так и широкого спектра абстрактных понятий, столь характерных и необходимых содержательных элементов в таком тексте, каким является рассматриваемая "Инструкция".

Специального изучения заслуживают также особенности грамматики болгарского текста. В высшей степени любопытно, что в этом тексте нет действительных причастий настоящего времени, широко представленных в оригинале. Переводчик такие причастия передает обычно описательной конструкцией с глаголом и местоимением *който* или *дето*, например, в русском оригинале: не принимать людей, не имеющих письменных узаконенных видов – в болгарском переводе: да са не прийма́тъ таки́ва лю́ди, *куйту не́матъ* узаконе́ни писма́ 12. Это же относится и к страдательным причастиям настоящего времени; ср. в русском оригинале: штрафной суммы, взыскиваемой на богоугодные заведения – в болгарском переводе: *глубе́жната сума, дету са зи́ма* за бо́гу ого́днити ра́боти 17.

Очень богат болгарский текст "Инструкции" разного рода синтаксическими конструкциями, оборотами и словосочетаниями, которые не свойственны народной речи, но широко представлены в деловом языке современных болгар. Очевидно, что многие из них взяты переводчиком из русского текста или составлены им по образцу русских. Все это требует отдельного подробного изучения и описания.

Сказанным выше мы ставили своей целью обратить внимание исследователей делового стиля современного болгарского литературного языка и вообще истории этого языка на интереснейший источник, каким является "Инструкция о обязанностях сельских приказов". Уже сейчас можно уверенно утверждать, что, вопреки сложившемуся мнению, упоминавшийся выше болгарский перевод Гюльханейского хатта не может считаться началом складывания делового стиля. Тщательный анализ языка "Инструкции", как нам кажется, позволит уточнить границы раннего влияния русского языка на болгарский и поможет решению сложного вопроса о разграничении этого влияния от церковнославянского.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Първев Хр.* Черковнославянски лексикални особености в първия възрожденски превод на наказателния закон // Известия на Института за български език. Т. XI. София, 1964.
2. *Първев Хр.* Към лексикалната характеристика на първия възрожденски превод на наказателния закон // Славистични изследвания. Т. III. София, 1973.
3. *Първев Хр.* Административният стил на българския книжовен език през Възраждането и руското влияние като фактор при неговото обособяване // Славистични изследвания. Т. IV. София, 1978.
4. *Първев Хр.* Лексиката в "Устав на Българският революционен централен комитет" // Изследвания из историята на българския книжовен език от миналия век. София, 1979.
5. *Първев Хр.* Административният стил през Възраждането // *Хр. Първев.* Страници от историята на българския книжовен език. София, 1986.
6. *Вачкова К., Узунова В.* Езикът на два административни документа от втората четвърт на XIX век // Език и литература, 1984, № 5.
7. *Вачкова К.* Поглед към началото на административния стил // *К. Вачкова.* Изследвания по историята на българския книжовен език. Ч. I. Шумен, 1997.
8. *Николаев Б.* Начало на новобългарската правна терминология // Изследвания из историята на българския книжовен език от миналия век. София, 1979.
9. *Русинов Р.* Използуване на говоримия български език за делови нужди в края на XVIII и началото на XIX в. // Български език, 1984, № 5.

10. Превод на преписат на царския саморучний хатишериф. Букурещ, 1841.
11. История на новобългарския книжовен език. София, 1989.
12. *Русинов Р.* История на новобългарския книжовен език. Изд. 2. София, 1984.
13. *Венедиктов Г.К.* К изучению истории лексики современного болгарского литературного языка // Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии. М., 1983.
14. Каталог Одесской городской публичной библиотеки. Т. I. Одесса, 1901.
15. *Венедиктов Г.К.* Вопросы нормализации болгарского литературного языка в начале XIX в. // Славянское и балканское языкознание. История литературных языков и письменность. М., 1979.
16. *Радулов С.* Предисловие // Постановления за българските колонии и височайши хрисовули за тяхното основание и подтверждение Болград, 1864.



© 1998 г. ГАЧЕВ Г.Д.

ВИНО болгар и ТАБАК турок
(натур-философский романс на стихотворение
Христо Ботева "В механата" ("В корчме"))

Этот текст – фрагмент из большого исследования "Болгарский Космо-Психо-Логос (по Ботеву)", которое я писал осенью 1980 г. Вникая в стихотворения Христо Ботева, я привлекал весь корпус культуры, быта и истории Болгарии – с целью выявить национальную шкалу ценностей и склад мышления. Как мне уже привычно было, писал я в жанре "экзистенциальной культурологии" – с включением ситуаций жизни ученого в то время, когда он мыслит. Ведь они влияют на ток идей и их наклонение – подобно тому, как состояние прибора учитывается физиками в ходе эксперимента: его и вклад, и помехи... Так что мышление ПРИ-влеченное тут работает, а не От-влеченное, которое этикетно в науке.

28 VIII 80. Вчера, когда из деревни в город переезжал, в электричке "поддали" – выпили мы с одним, и навело это меня схватить затем стихотворение Ботева "В корчме" – его анализировать следующим. Перечитал, запустил в себя его с вечера на брожение-ферментацию, как вино: на срок, на ночь, – и вот уже с утра мысли явились по его поводу.

Уж по примененной образности в предыдущей фразе: "брожение – ферментация..." догадаться можно, что главным персонажем умозрения нынешнего станет – ВИНО.

Тежко, тежко! Вино дайте!
Пиян дано аз забравя
туй, що, глупци, вий не знайте
позор ли е или слава!

Тяжко, тяжело! Вино дайте!
Пусть, пьяный, я забуду
то, что вы, глупцы, не знаете:
что есть позор, а что – слава!

Вино! Это – грандиозно! Это – мистерия, это – религия, это – сакральная кровь Бытия. Недаром в священнодействиях ритуальных (евхаристия...) принимает оно участие: в при-частии нас к Целому = телу = "земле" и крови = "воде" Господней. В

исламе же, напротив, вино, как "гяурская кровь", как святотатство-кощунство, – отвергается непримиримо.

И понял я еще, что вино – это **стена!** Не только христианством оборонялись болгары от турок, но еще и – вином, как стеной, окружили свой быт (ипостась Бытия), или как ров запретный, наполненный водой священной, заклётой, через который турки-исламляне переступить, по вере своей, не могли, чтобы не оскверниться. А болгары себе за магической чертой (Чур!..) этой, смеясь, веселились, ликуя, что победы над врагом достигли – таким простейшим и остроумнейшим и к тому же приятнейшим способом: тем, что мы – пьем! нам вера наша позволяет, а турки – вот дураки-то! – от блага такого, не весть почему, сами себя отрекли-отлучили!

Кстати, и в этом – фракийство = дионисийство болгар, субстратная их эта основа сказалась, дославянская еще. Ибо во Фракии особенно развит был культ Диониса. Недаром фракийца Орфея тут вакханки (то бишь, менады) разорвали.

Так что если христианство с эллинизмом в византийском его варианте болгар соединяло с греками во Логосе против турок под ихним владычеством, то винопитие кровь Космоса фракийского, древнего, вливалось в болгар, субстанцию их физическую крепя и тем оберегая еще от растворения и ассимиляции. Таким образом не просто напиток – вино для болгарства под игом было, но – род национальной мессы (кстати, "месса" = обед-ня, трапеза, за-**стол**-ье – за "маса" что – "стол" по-болгарски – творится): не только телесный-материальный, но и духовно-психейный со-мысл в этом деле содержался и изливался. Вино – это политика своего рода, да и тактика поведения и уберегания своей сути-субстанции от рассеивающих сил энтропийных чужеродного Космоса тюркского, точнее – турецкого (ибо тюркский элемент отчасти природен в болгарстве, от "праболгар"...).

И когда Иван Вазов с таким вкусом описывает поэзию застолья болгарского (в экспозиции романа "Под игом"), с неперменной чашей "руйна вина", тут не просто нега, "кеф" и наслажденчество, но – исповедание веры своей и подтверждение крепости ея. Это об-ряд = по-ряд-ок = чин-строй-космос свой таким образом ежедневно на самом низовом бытовом уровне воспроизводится и крепится.

Так и видишь, как ярый турок, разогнавшись в свирепости на конях проткнуть весь народ и истребить весь корень болгарский, вдруг остановился – перед невидимой чертой какой-то, как перед твердокаменным барьером, – и перескочить не может! А уж ждавшие неминуемой гибели обреченные жертвы-овцы, сбившиеся в кучу ("къща"), – окрылились, воспрянули, по-человечьи-птичьи запрыгали-заскакали над землей: заиграли хорó. Обхитрил зайчишка волка – с помощью Быт(ия)!..

И потому, хоть и иронизирует над собой Ботев: стыдится этой слабости своей – что окунуться в вино в поисках забвения потянулся, – но ведь недаром непреодолима оказалась ему эта тяга. В ней – народности зов, ее простодушная крестильная купель: омыться-обновиться, причаститься к народной религии, к об-ряду, ему понадобилось – измучившемуся в одиночестве на чужбине.

Но что есть вино – с точки зрения и на языке стихий?

Это **огне-вода**; как и кровь в нас – красная(=цвет стихии огня в ипостаси **жара**, не света), так и вино – кровь наружного космоса При-роды возделанной, а значит: не-гонимой лишь (естественной), но и -ургийной = культивированной трудом, умом-умением человека. Так что умная это еще вода, жидкость, вино: в нем Логос Творения, а не просто естество. Вино – искусство! Недаром каждый хозяин – как своим "я" – хвалится вкусом вина, что он домашне выделал: в нем его душа, психея, характер, нрав, мировоззрение даже.

Вон в Брацигово отчем когда был я – как мне один из сверстников отца, наливая домашнее вино, объяснял: какой букет трав ("пелин" и еще многое) и в какой пропорции он вносил в сок виноградный и сколько дней выдерживал... Аромат вина – как у женщины аромат плоти ее, с тончайшей прикрасой духов соединенный.

Так что аромат вина и вкус его – это и Дыхание – Душа – воз-Дух еще. Значит, не только огневода, но и стихия **воздуха** тут присутствует. Да и вообще это – косми-

ческое существо, четырехстихийное, вино! Ибо и стихия **земли** разве в превращенном виде не присутствует в нем? А лозы, а гроздья, а ягоды виноградные – не плоть ли это тончайшая и сладчайшая вещества? Плод = плоть = плотность. И – пол, т.е. секс, Эрос – и его ярость в нем, в вине, осела, о себе заявила, и Эрос, обратно, продуцирует в возлиявшем...

Но связь с Эросом таковая – именно у вина, а не у водки. Вино – брат Эросу; водка – соперник-вытеснитель, враг. Особенно в Русском Эросе эта их противоположность и взаимоисключаемость сказывается. Тут мне на ум приходит частушечка, которую соседка моя по деревне, Анюта, в подпитие когда придет, – распевает, приплясывая:

Цыган цыганке говорит:
– У меня давно стоит!..
...На столе бутылочка –
Давай выпьем, милочка!

Тут – гениальный обвод за нос. При слове "стоит" естественно цыганке понимать, что у цыгана на нее стоит – то, чему у мужика положено вставать на женщину... Но – не тут-то было! Творится дивная модуляция – увод-отклонение в совершенно отдаленнейшую тональность: ведь слово "стоит", как и посредствующий аккорд, может принадлежать разным системам-тональностям – в том числе и бутылочка тоже может **сто-ять на сто-ле...**

Как сказал один русский мыслитель: (Андрей Синявский. "Мысли врасплох"; 19 XII 97) русский мужик всегда предпочтет белую магию водки черной магии женщины...

А тут, у бедняги бабы русской, у Анюты, вдовы безмужней, военной, – как тоска по горячему Эросу даже в том, что понадобилось **цыгана да цыганку** впрямь в частушку – сказалась! На Руси цыгане – образ огня и воли, горячего сердца и страсти. И у бар так ("Живой труп" Толстого; "Поехали к цыганам!" – как в космос страсти и свободы, в мир огненности... И "Цыганы" Пушкина...), и у раб так – у крестьян, как слышим по частушке этой бабьей. Взгорячить себя воображением на любовь понадобилось – через видение цыганщины.

Почему же у **водки** такое анти-Эросное, т.е. анти-при-РОД-ное действие, а у вина – свойское с природой, совокупное с ней – так что от вина именно тянет на совокупление?

Это уже из процесса изготовления их оче-видно. Выдελывание водки = перегонка: брага из винной шелухи, или из перегнивших плодов (слив, абрикосов...), или из ржи, или из сахарного песку на дрожжах (как самогон гонят ныне в селах российских тайно-гонимо), или из кислого молока (как арака на Алтае) – кто во что горазд, по национальному космосу вещество берется, – перегоняется-выкипает на огне в кубе выпаривается – и охлаждается: пар снова превращается в капли – и вот вода перед нами снова, жидкость. Тут – трансмутация, смерть: вода в пар превращается, в воздуха стихию, а потом – ее воскресение, новое рождение. На адовом котле прокипел-перестрадав, через врата Смерти перейдя, наше вещество уже от Жизни отрешилось, перестало быть ей сродной субстанцией, но уже бесцветной "кровью" Бытия (а не Жизни) стало, сублимировалось.

Вино же всегда – цветно и вкусно (тогда как водка не только без-вкусна, но и – горька, т.е. отвратно-вкусна, обратна вкусу, противоположна сладости Жизни – как Смерть лютая): сохраняет тождественную связь с Природой и Жизнью: при всех переделках-переработках трудом-искусством – в гармонии с естеством оставляет-сохраняет выделанное вещество. Тут тот вид -ургии, когда она как продолжение-гонии выступает, т.е. Труд, что есть суть и гордость человечества, выступает как продолжение порождающей силы Природы, в гармонии с нею; искусство – с естеством в ладу.

Водка же – уже трансценденция в мир иной... Туда и возносит выпившего: в заоблачный континуум, по ту сторону добра и зла; потому невменяем выпивший преступник: он уже существо не от мира сего.

Водка метафизичнее вина. И более – Отцовская она жидкость, небесно-воздуховная (недаром бесцветна: серый-белый цвет-свет Бытия-Небытия в ней), тогда как вино – религия-мистерия Матери- и Земли, есть ее усиленная кровь – та ее огневода, что прямиком переливается и питает другой род огневоды – семя, и Эрос орошает.

Водка же не Эро-с, а Яро-сть орошает: ярит, горит, горилка. Не благое, умиротворяющее она к Жизни чувство пробуждает, но – отмстительное. Потому толкает – на бой, на драку, на преступление-убийство, Смерти служить, а никак не на Любовь и не на службу Жизни и Природе. (Потом у меня такие национальные соответствия и уравнения вывелись: вино и любовь (французы); шнапс и марш (немцы); водка и драка (русские); пиво и беседа (чехи) (19 XII 97).)

Вино при его возделывании – живет, воспитывается, возвращается: в постепенности Времени, как и растение, злак, плод и сад. Оно – бродит, шипит, голос подает, хочет чего-то от Мастера своего.

Водка же – не живет ее субстрат, или очень мало. А главная процедура – убиение-закалывание-сжигание – делается вмиг, в ночь – и на Вечность, чтоб уж выйти из-под власти Времени живого, как и все изделия Труда-ургии: чугун, сталь, полиэтилен...

Как скоро делается, так скоро и пьется она на Руси – и результат дает. "Раз, два, – и трупом!" – так мне ученик мой (в Брянске в 1952–1954 гг.), Трегубов Володимир, к кому я на лесоповал в Коми АССР зимой 1965 г. ездил поработать в отпуск мой, – говаривал: так пьют работяги российские. Хлобысть стакан, другой, без закуси, иль рукавом утираясь (как русский солдат в "Судьбе человека" Шолохова пьет: поединок-единоборство батыров тут с немцем, сказочно-былинная совершенно сцена), – и чтоб поскорей перенестись в эмпирей, где свобода и беспамятство о жизни этой – и новая жизнь, и существо новое я становлюсь: легкое, летучее – в психейном своем самочувствии – тогда как снаружи я – сник, увял и "труп"... Хотя – это потом. А сначала – пляс, размах, разгул, летучесть и воздуховность необыкновенная. Это потом крылья опадают – и позор, и свив, и похмелье...

Соотношение и питья с питанием у разных народов показательно. У русского гордость и амбиция – пить, не закусывая, т.е. не прибегая к помощи стихии земли, не заземляясь как бы, какую бы меру огненного электричества ты с молнией водки-спирта (тоже – Спиритус! Дух! Почти "Санктус" – Свят...) в себя ни принял. А вот болгарин Йордан Радичков, когда мы с ним по Сибири-Якутии (в 1963-м) путешествовали и там приходилось много пить – при русском-то гостеприимстве широко, – так мне говаривал правило свое национальное: "глътка вино – хапка мезе", т.е. "глоток вина – кусок закуски". Мера, значит, у болгар между ними, прослоенность огневоды – землицею спасительною, материнскою (как и у Антея...). А русский, выпив, как бы стремится поскорей порвать связи с землей, расстаться со всемирным тяготением, набрать "вторую космическую скорость" – и вылететь за пределы земных закономерностей – в том числе, и по ту сторону социальных законов.

Армяне же, как мне рассказывал недавно Валерий Борисов, искусствовед, сначала едят плотно, а потом уже пьют. Потому и не пьянеют они. Стихия земли приматна у них, как и показал в работе сравнительной об армянском и грузинском космосах (см. "Гроздь и Гранат = Грузия и Армения" в журнале "Литературная Грузия", 1979, № 7). Боятся оторваться от земли. У грузин же винопитие сопряжено с изысканными тостами-речами: вино переливается в Логос...

29 VIII 80. А вот **курение** – турецкое дело и зараза среди болгар. Табак – тюрк! Тютюн – это тью-тью... В воз-дух испарился-улетучился человек – как джинн в сказках "Тысячи и одной ночи": из дымной субстанции состоит таковое существо.

Но дыма нет без огня-стихии. Если вино = огневода, то дым табачный = огневоздух: летучий, легко съемный, кочевный, как это и видим по племенам, непрерывно,

как из рога изобилия этнического, источавшимся за историю с плоскогорий средне-азиатских, что условно можно обозначить – как Космос Ислама: его тут ареал.

Не вьедливые в землю пахари тут, а надземно-летучие ското-воды, стад вожди, пути и траектории надземные полагающие, ведающие, а власти Земли-Матери-и не ведающие, силы ее притяжения кроваво-винно-мистериально-подземно-пещерного даже (как чуют это фракийцы и славяне – земледельцы), зато волю Неба, Отца, Аллаха мощно чувствующие, мужи в народах...

Тюрок в землю не смотрит: "грязной тачкой рук не пачкай: это дело перекурим (именно!) как-нибудь!" – как в блатной песенке эзков на Руси поется. "Перекур с дремотцой" (так работяги русские перерыв в работе толкуют) – татаро-монгольская это зараза, что в -ургию российскую въелась – и осталась: растлевать и так слабый тут -ургийный Эрос.

Но что есть ДЫМ на языке стихий? Это такой же синтетический из них продукт, как и вино. Тут Матерь(я), земля-стихия, на алтаре Огня приносится в жертву – и получается такой воз-Дух, что напитан частицами земли и жаром огня. Лишь воды тут нет: она антиподна огню, как болгар-славянин тюрку, как вино – дыму. Однако и ее сумели тюрки синтезировать – в обычае курения кальяна: длинная трубка опускается к чашечке с водой, через нее проходит дым, очищаясь и охлаждаясь, – как и при перегонке водки в аппарате самогонном. Кальян – самогон: только из самосада-табака смолокур-бедокур.

И недаром в этом ареале – космос ал-химии (где и аль-Коран и ал-гебра-зебра): огнем-мечем метим все вещество и одно во другое преобразуем. Табашники = химики: демонские надругатели над чистой и целомудренной Материей-землей: мучить-драить ее в сладострастной похоти, как женщину в гареме... Так что сопряжены эти две страсти-"порока" в исламе: допущение любострастия (и рай-то тут чувственный: там гурии убажуют праведника, лениво растянувшегося в похоти и неге) и курение табака – как и, с другой стороны, другую пару, "европейскую", так сказать, образуют моногамия и вино-питие. И действительно: моногамией болгары так же держались-крепилась под игом турок (хоть и табак, и кафеджийство, и многое прочее от них переняли), как и христианством, и вином, и языком своим славянским.

Ну да: еще Порфирий-неоплатоник и Августин, манихейством переживший увлечение, полагали, что в воздушном пространстве между небом и землей – как раз местоположение демонов-аггелов (в отличие от чистых свето-духов, ангелов) = джиннов-дымов. И вот курящие непрерывно чистый свято-воз-дух алхимией, ее изделиями засоряют-засерают (от "сера"): вавилонские столпы из дымных колец в небо каждый куряка воссылает.

Аллаху это не страшно: он и сам по субстанции – не Святой Дух, а огненный, испепеляющий, жарко-солнечный, а то и темно-нощный... А вот Богу христианскому, троичному, дым – это от языческих еще всеожжений рудимент, а Он: "милости хочу, а не жертвы!" – не телесных, а душевных приношений ожидает от паствы своей. Да и "паства" – от "стада", от "пастыря" – тоже кочевые еще рудименты терминологические во христианстве, которое есть по преимуществу земледельческая и городская религия: (семья, "вышел сеятель сеяти") и дом (построенный на камне или на песке) – его модели.

Итак, закурив, болгары исламизировались несколько. Или – тюркскую свою потенцию (из трех-то своих составных слоев) утолили-удовлетворили. Но зато христиански-матерински-земельную, фракийски-славянскую части свои пообидели несколько, поущемили. Но что ж делать? И иго-то недаром к ним именно прилепилось: значит, суть их этого хотела подспудно, и энтелехии ихней, для ее полного развертывания, – нужно-угодно это было-стало и будет. Ибо ЭНТЕЛЕХИЯ = тяга из будущего, причина спереди, целевая.

И, кстати, та "наука", которую я развиваю, имеет в принципе своем именно этнелехиальную, телеологическую причинность: **к чему** все ведет, посмотреть попытаться и понять так все, а не в причинно-следственной связи прошлого и происхождения, как

подталкивание каждой вещи сзади, кнутом причинности-необходимости, фатально-предопределяющей из-зади. Энтелехия – это как бы причинность из свободы, из воли!..

Это я в себе то уныние побораю, в которое впал вчера, читая великолепный научный труд по этнографии Пиринского края, что мне прислали из Центра по болгаристике. Как дотошно и тщательно изучено и описано все! С каким знанием дела!.. А у меня что? Домыслы и фантазирования, на малом знании фактов основывающиеся: из мухи всякую через умозрение – слона себе выделяю в забавах своих промыслительных: "гърся под вола теле" ("под быком ищущу теленка") – по иронии болгарской пословицы к такого рода умозаключАнию незаконному...

Однако фантазмагории мои одержимы законным также в человеческом Логосе позывом понять всю связь вещей – к чему бы это все могло вести и как одно с другим **сообразуется**. И тут уж без работы образования-"моделирования" не обойдешься. А именно такой дар во мне отметил при недавней встрече Померанц Григорий – еще со времен "Ускоренного развития..."

Хотя бы так понимали и оценили: как поэту можно романтическую поэму слагать, так и мне филосо-поэмы разворачивать: в этом тоже и гимнастика уму человеческому, и красота образованию возможна: и веселие логосное; как литературу художественную или смешливую хотя б читали-воспризнали. Со смехотворцев же не требуют научности и с романтиков-фантастов, а ценят такие работы и деятельности сами по себе. Так бы и меня; хоть на тех же правах институировали б в истеблишменте культуры!.. Но – вряд ли. То, что с Умом я, во Логосе работаю и штуки свои выделяю, автоматически вызовет у людей требование "научности" – ему мне соответствовать...

Однако через принцип "энтелехии" могу я и Науке объяснить целесообразность моего типа духовной деятельности и в ее критериях. Тут опыт причинного рассмотрения "спереди", из того возможного "к чему" нечто приведет, как цели в Целом, в связи своей итоговой-конечной, а не "из чего" нечто видимо и выводимо (из прошлого и наличного, данного и фактического, как обычная научная причинность исходит всякое дело). Тут наука не о действительном, а о – возможном бытии-понятии. Ведь и Аристотель как вполне законную логическую деятельность рассматривал Логос возможного, а не только рассуждение по модусу данного, наличного, ставшего, факта. Для того и ввел он эту гениальную идею энтелехии = целевой причины, чтобы оправдать такого рода Логос и подход, в частности...

Но вернемся к нашим баранам, сиречь – к табакам!

Итак, табак – дух демонский, ведьмяный, алхимический. Трубка = реторта; кальян = колба для перегонки. В самом деле: взгляните хотя бы внешне в папиросы, трубки – и колбы и трубки химических опытов: изогнутые "ручки" – как дев-гурий в восточных танцах... И герметизм – гаремный, где лишь химик-евнух вхож и сведущ. Но зато – и беспол он: гениталии обрезаны – органы Матери(и)При-роды.

Теперь и то мне понятным становится, что в Космо-Психо-Логосе, который сложился на территории Болгарии под крышкой, во колбе ига, турки стихии воздуха и огня осуществляли, а болгары – земли и воды. Одни слишком жгучи и летучи, а другие – слишком тяжки и влажны-женски-робки, маменькины детки, недоросли... А те – мужи и отцы, по преимуществу. Потому-то и задача революционеров (Раковского, Левского, Ботева...) была – возогнить болгар, овоздушнить: отнять прерогативу турок и монополию на эти стихии в болгарском Космосе. Потому они и сами – "скитници" (скитники) = кочевники стали по чужбинам, на подвиг и муку безлюбности вышедшие ("немили-недраги" – и у Ботева к себе такой эпитет, и у Вазова о "хышах" под тем же названием повесть...). Оттого-то и стон непрерывный в лирике Ботева слышится: самоотрекся от близости к Матери- и Родине телесной, ибо она может его помиловать-поласкать-пожалеть сладко – и усыпить боль его и решимость на огонь, пожар и борьбу, что и происходит с большинством, кто воспитан как "мамино детенце" (маменькин сынок): в близости к лону и груди материнской, и чуть что, не вынеся муки усилия вверх и воздух (где холод, "виелици"-вьюги и вихри, как в космосе стихотворения "Повешение Василя Левского"), припадают к влаге вина,

осыряются и чрез то совсем уж негодны становятся для дела огне-воздушного, мужеского:

О, налейте! ще да пия!
на душа ми да олекне,
чувства трезви да убия,
ръка мъжка да омокне!

О, налейте! стану пить!
чтоб на душе стало легче,
чувства трезвые убить,
чтоб размякла рука мужская!

О том и написано стихотворение "В механата". Это – самокритика болгарской революционно-демократической интеллигенции: о слабостях своих исповедь и покаяние. Подобно тому, как и Некрасов каялся в "неверных звуках лиры", "когда давил неумолимый рок". Но тут – литература, а там – дело оружейное и кровавое зате-валось. И как Некрасов с горечью о крестьянине русском пишет:

У каждого крестьянина
душа – что туча черная:
гневна, грозна, и надо бы
громам греметь оттудова,
крававым лить дождям,
а все – вином кончается...

– так и Ботев о своих же "хышах" – эмигрантах в Задунайщине, возможных четниках его... Но и ту разность надо учитывать: перед Некрасовым-то не стояла непосредственно задача самому взять ружье и палить в министра царского, как и Чернышевский, к топору звавший Русь, не полагал (как коли б по совести рассудил), что и ему самому надо топор в ручки свои литературно-писательские взять – и обогреть: грех на душу взять самому – и отвечать; попробовать, каково это революцию своими руками проделывать и на сердце и в душе всю ее тяготу понести. Это они проделывать предоставляли мужичкам-крестьянышкам, о ком уютно себе радели в редакции "Современника" или "Записочек Отечественных", да хотя бы и в каземате и в ссылке... А перед Ботевым и болгарскими революционными интеллигентами-эмигрантами именно об этом вставал вопрос и предстояло прямое дело: кровь лить – чужую (человеческую тоже ведь!) и свою...

А каково это топор в свои руки взять и кровь пролить – как раз интеллигентам-то русским во-время Достоевский в "Преступлении и наказании" явил-исследовал: каким это грузом на совесть-то ложится, о чем они-то, в проповеди своей увлекательной, как-то запаматовали. А вот "меньшим" братьям болгарам на кровопролитие предстояло решиться – самим, а не, как еще гуманно Тургенев Инсарова российской литературной публике в салоны преподнес на аханье и сочувствие: жертвенно от турок испытывать кроволиение, что славянской душе приемлемее... Когда же русский писатель "болгара" при прямом ему приданном деле изображал, то выходил "Кырджали" пушкинский – образ героический и народный, но совсем бездуховный: разбойничек – братец...

Ботеву, таким образом, предстояло случить в себе Инсарова с Кырджалием: такой гибрид славяно-тюркский вывести, породу новую человек, чтобы адекватно суметь противостоять огнедухам-туркам в деле мужеском, воинском. Каравелов вот присогнулся от бремени задачи такой – и в сторону инсаровской ипостаси подвинулся: литературно-просветительским агитационным делом заниматься, а ля литераторы российские; Ботеву же пришлось соответственно в сторону Кырджалия посторониться: ночами грабить богачей – самому на революцию деньги собирать, и воеводой четников стать, хотя душа его, как мы это по лирике его слышим, – нежнейшая и тончайшая: воистину душа "на маминото детенце" – любимое и любящее... Ему бы стихи писать, литературу родную восставить и восславить гением своим, а он вот за ружье взялся – и погубил такие надежды и дары Божьи невосполнимые!

Но почему это русские, Пушкин да Лермонтов, один – из-за бабы и светни (=сплетни светской), а другой из-за того, что сам людей раздраживать до бешенства любил от нечего делать, – с легкостью могли взяться за оружие, (считали это своим долгом) и так ни за что (воистину!) укокошить свой гений, а болгарский поэт – из-за Родины! – должен бы был себя поостеречь? Ведь как бы ни погибли, но и те, и другой – в легенду тем самым себя вложили, национальный миф, Пантеон и мартиролог умножили-обогатили; а это труд и плод – более субстанциальный, нежели литература. На век народа своего притчей во языцех не только стих их, но и жизни стали.

"ХЫШ" – так называется эта порода людей, гибрид-метис из Кырджали и Инсарова, которая выводилась из болгар в реторте чужбины, в удержании долгом вдали, в изоляции от Матери-и земли, в середине XIX в. Даже само звучание указывает и на стихийный состав-суть такого рода людей. "Хыш" – "Кыш" = "прочь!" = "вон!" – выдох такой резкий, как дутье: раздувая костер или угли, именно такой звук издаем. В нем как бы осело звукоподражание огневоздуху. Ибо "х" – это явно звук воз-духа, из глубины, de profundis легких продых наружу чрез трение о врата рта. А "ш" – шипение, что от контакта огня (= языка...пламени) с влажностью низа, земли рта, матери сырой, образуется. "Ы" же – это гласный Дали (как и "и"): путь-дорогу дальнюю прообразует, кочевую...

И вполне это тюркское; по конституции своей, слово, звучность. "Хыш" – это как "дым": выдох-выкур-колечка изо рта.

Чтобы любовь телесно-кровная между Сыном и Матерью Родиной болгарскими перекипела в огненно-воздуховную, и нужно было перерезать пуповину меж ними, близкодействие превратить в ситуацию далекодействия – разлуки, а там, на чужбине, и пестовать-взрачивать энергию деятельно-освободительной любви – Эрос, приподымающий субстанцию болгарства на несколько ступеней вверх.

Это – тяжкая процедура для избранных и призванных, для меченых атомов революции. Они – как своего рода тоже "янычары": отрываются из лона семьи, отлучаются, чтобы забыть все, кроме борьбы; лишаются всего – с тем, чтобы начать духом огненным питаться.

И немудрено, и понятно, что иногда тянет их и "грехопасть" – в обыденность болгарского телесного жития, расслабиться, как живут себе на родине сынки при лонце маменькином, – и пьют, и веселятся. Это "падение" хыша и описано в "В механата": как зашипел огневоздух в чаше вина. "Эх-ма!.. Однова живем!.. Пить будем, гулять бу-дем, а смерть придет – помирать бу-дем!" – как приговаривают русские, выпив и отдавшись свободе и беспечности и разгулу и размаху... И недаром с несколько татарским акцентом произносят эти слова (вон и в "На дне" Горького их Татарин или Кривой Зоб произносят в 4-м действии: "пить бу-дим..."). Тут опять тюркски-воинский акцент, огне-воздуховный, надземный слышится.

Но за то-то и гвоздит своих сонародников-хышей в корчме Ботев: что они пить-то будут, гулять-то будут, а вот помирать смертью за родину – не торопятся:

Пием, пеем буйни песни
и зъбим се на тирана;
механите са нам тесни –
крещим: "Хайде на балкана!"

Крещим, но щом истрезнеем,
забравяме думи, клетви,
и немеем, и се смеем
пред народни свети жертви.

Пьем, поем буйные песни
и скалимся на тирана;
корчмы нам тесны –
кричим: "Айда в горы!"

Кричим, но как протрезвеем,
забываем слова, клятвы,
и немеем, и смеемся
над народными святыми жертвами.

"Хайде", "ХАЙ-ДУ-ТИН" – тоже слова из оперы огневоздуха: "хай!"-"гей!"-"дуй!" = "хай-ду-тин". И это уже народно-болгарски пригретое словообразование: хайдутин уже

не в балке, а на Балканах обретается при "майце си": гора ему мать. Так у Ботева в "На прощаване" ("На прощание"):

Не плачи, майко, не тъжи,
че станах ази хайдутин

Не плачь, мама, не скорби,
что стал я гайдуком.

И слово это: "хай-ду-тин" уже длинное, славянское, певучее, увлажнено звонкими, "женскими" согласными ("д" и "н"), прослоено гласными обильно – не то, что слова тюркские, сухие, где глухие согласные (а ими выражается огнеземля – высушенная, как степи и пустыни в космосе ислама, где и воз-дух сухой из легких души вылетает, слова образуя) замыкают редкие гласные: закрытые тут слоги и слова – "казак", "киргиз" "Чин-гиз" и т.п.

Так что задачу мог бы Ботев эмигрантам так сформулировать: чтобы в них "хъш" перерос-развился в "хайдутин". Ибо хыш – в механе, гайдук – на балкане...



© 1998 г. ШЕВЧЕНКО И.И.

О ГРЕЧЕСКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ МАКСИМА ГРЕКА*

То обстоятельство, что профессор Пол Бушкович обнаружил в составе венской рукописи *Vindobonensis graecus* 202 (л. 8–15 об.) две греческих поэмы¹, написанных элегическим дистихом, и показал, что они принадлежат перу знаменитого Максима Грека (ок. 1470–1556?), известного до своего приезда в Москву как Михаил Триволис, является безусловной заслугой этого профессора. Первая поэма, озаглавленная *Ἐπι ἠρωελεγκὰ πρότρεπτικὰ εἰς μετάνοιαν*“, в церковнославянском переводе – *Слово о покаянии*, содержит 122 строки; вторая, заглавие которой мы, на основании ее церковнославянского перевода – *Слово обличительно на еллинскую прелесть*, – реконструируем как *Λόγος στήλιτευτικὸς εἰς Ἑλλάνα πλάνην*, содержит 380 строк². Таким образом, общее число нового материала насчитывает 502 строки. До сих пор нам была известна только 31 греческая поэтическая строка, написанная Максимом Греком классическим размером (из которых только 14 написаны элегическим дистихом). Эти цифры дают нам представление о всей важности открытия профессора Бушковича, о котором он объявил в своей статье, опубликованной в 1984 г.³ Здесь, однако, наш хвалебный пыл следует умерить, поскольку публикация греческого текста поэм⁴ заслуживает столько же нареканий, сколько само открытие – похвалы.

Шевченко Игорь Иванович – заслуженный профессор византийской истории и литературы Гарвардского университета (Кембридж, США).

От редакции: статья И.И. Шевченко публикуется с авторского оригинал-макета.

* Текст доклада, прочитанного в ГИМе 8 октября 1997 г. на заключительной сессии конференции "Москва и греческая культура", организованной Российской Академией наук и Посольством Греции по поводу 850-летия со дня основания города Москвы.

¹ Описание рукописи см.: Н. Hunger. *Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek*, I (Вена, 1961), 313–314. В настоящей статье, при цитировании двух текстов *Vindobonensis*, я использую обозначения *Поэма I* и *Поэма II* (или *Π I* и *Π*); арабская цифра при цитировании обозначает номер строки.

² После второй поэмы следует сопроводительное письмо; оно адресовано Максимом некоему, пока таинственному, Макробию.

³ Paul Bushkovitch. "Two Unknown Texts by Maxim the Greek", *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*, 32 (1984), 559–561.

⁴ П. Бушкович. "Максим Грек – поэт 'гипербореец'". *Труды Отдела Древнерусской Литературы*, 47 (СПб., 1993), 215–228.

Поэмы, открытые профессором Бушковичем, были переведены доктором Дмитрием Буланиным⁵ на русский язык стихами. Перевод выглядит хорошо. К сожалению, однако, любой поэтический перевод имеет ограниченную пользу для научных целей из-за необходимости вставлять в перевод слова-пустышки, для которых в оригинале нет соответствий. Более того, поэтический перевод позволяет плавно скользить по поверхности текста и избегать сложностей в переводе трудных или недостаточно понятных пассажей оригинала. Поэтический перевод греческого оригинала также представляет возможность затушевывать ошибки и несуществующие греческие слова в публикации Бушковича, в то время как прозаический перевод помогает выявить слабые стороны этой публикации.

Несмотря на эти очевидные трудности, перевод Буланина местами даже ближе к оригиналу Максима Грека, чем печатный греческий текст профессора Бушковича. И тем не менее, я не обнаружил никаких свидетельств того, что Буланин имел доступ к самой венской рукописи. Как кажется, главной причиной такого замечательного и весьма приветствуемого результата, которого Буланин добился в своем переводе, является то, что переводчик часто молчаливо следовал не печатному варианту профессора Бушковича, а церковнославянскому переводу обеих поэм, выполненному в XVI веке и представленному в Казанском издании трудов Максима Грека⁶. Такое решение было весьма удачным, так как у нас есть веские причины полагать, что славянский переводчик и Максим, автор греческих поэм, – одно и то же лицо. Об этом подробнее – дальше.

Недавно я предложил новое издание и прозаический перевод всех известных греческих поэм Максима⁷. Здесь я только выскажу несколько соображений, возникших у меня в процессе подготовки текста к новому изданию.

Предположив, что церковнославянский перевод двух поэм Максима помог Дм. Буланину понять смысл их греческого оригинала, мы подразумеваем, что переводчик на церковнославянский хорошо выполнил свою работу. Я подверг греческий и церковнославянский тексты анализу, который предлагает некоторый материал, помогающий установить личность переводчика. Так, мы обнаруживаем в церковнославянском переводе добавления, объясняющие или подчеркивающие смысл греческого оригинала. Мы, далее, находим, что переводчик переводил *свободно*, используя перифразы, передачи текста по смыслу или принимая во внимание нужды славянской читательской публики.

Ср., например, следующую перифразу:

Греческое (П I, 16) *αὐτοκύων ὄφθη*, ‘(он появляется как) “самопёс”’: *цслав.* ничтоже разликуеть пса (перифраза необходима, так как, по всей видимости, *αὐτοκύων* является *haxax legomenon*, которое изобрел сам Максим).

Ср. пример свободной передачи по смыслу:

Греческое (П II, 255–258) *οὐ ... τοῦτο σοφῶ τὸ τέλος*, ‘цель мудрого мужа не состоит в этом’: *цслав* се ли есть премудрому совершенство? ни (риторический вопрос с отрицательным ответом вместо отрицательного предложения оригинала).

Ср. также пример, в котором переводчик принимает во внимание нужды славянского

⁵ Д.М. Буланин. “Максим Грек, ‘Слово о покаянии’ и ‘Слово обличительно на еллинскую прелесть’ (перевод Д.М. Буланина)”. *Труды Отдела Древнерусской Литературы*, 47 (СПб., 1993), 229–240, особенно, стр. 231.

⁶ *Сочинения преподобного Максима Грека*, I–III (Казань, 1859–1862) (на сегодняшний день – единственное доступное издание трудов Максима, дошедших до нас в церковнославянском переводе), т. II, стр. 148–152, т. I, стр. 62–77. Новое издание сочинений Максима готовится Н.В. Сеницыной, ср. ее “Проект издания сочинений Максима Грека”, *Cyrrilomethodianum*, 17–18 (1993–1994), 93–141.

⁷ Ср. (1) Ihor Ševčenko. “On the Greek Poetic Output of Maksim Grek”. *Palaeoslavica*, 5 (1997), 181–253 (введение, текст, перевод, комментарий); 260–276 (факсимильное воспроизведение Поэм I и II); (2) статью под тем же заглавием (с некоторыми дополнениями, но без факсимиле поэм). *Byzantinoslavica*, 58, 1 (1997), 1–70. Независимо от меня, новое издание греческих поэм Максима Грека готовит Константин А. Цилияннис (*Τσιλιγιάννης*) из Фессалоник.

читателя:

Греческое (II, 153; о Зевсе) *μήτε κόρη γλαυκῶπιν ἐῆς κεφαλῆς ἀποτίκτων*, 'не рождая блистательнооую [букв.: свиноголазую] девушку из своей головы': *цслав.* ниже раждая отъ главы своя Палладу, отроковицу доброочитую.

Не доверяя своему читателю в том, что он может догадываться, какая женщина описана гомеровским эпитетом *γλαυκῶπις* (ср. Илиад. 24:26), славянский переводчик вставил имя [Афины-] Паллады. "Свиноподобные" глаза богини становятся просто "красивыми". С другой стороны, переводчик верил, что его читатель разберется, кто такая Паллада.

В полном тексте моего исследования (см. прим. 7) читатель найдет более подробный список всех тех приемов, которые употреблял славянский переводчик в процессе перевода наших поэм. Но даже три эти примера, приведенные выше, показывают, что переводчик стремился заменить темные, неясные термины, предполагающие знакомство с греческой мифологией и греческой риторической культурой, на термины, которые были бы понятны читателям, не обладающим таким знанием. Эта тенденция проявляется с достаточным постоянством. Во всех случаях сам переводчик на церковнославянский обнаруживает правильное понимание оригинала и его аллюзий. Поведение переводчика, чьим родным языком является славянский и чей кругозор ограничен славянской культурой, было бы менее гибким: мы ожидали бы от него простых транслитераций греческих личных имен, калек специальных терминов и отсутствия объясняющих вставок в текст.

Переводчик, который использует упрощения или распространенные перифразы; который предлагает хороший свободный перевод, часто по смыслу; который производит смысловые замены или делает добавления, чтобы, так сказать, кормить с ложки славянского читателя; который понимает, какая цитата Священного Писания стоит за поэтической аллюзией оригинала и поэтому использует в переводе канонический текст; короче, переводчик, который при переводе с греческого чувствует себя как дома и свободно позволяет себе переделывать текст оригинала, когда возникает такая необходимость, скорее всего – сам автор. Этому предположению не противоречат даже пропуски в переводе. С одним возможным исключением (II II, 279), ни один из пропусков не ослабляет нашего тезиса о том, что Максим Грек был одновременно и автором греческого текста, и переводчиком славянского. Пропуски целых строк (которые никогда не портят смысла фразы) могут быть объяснены либо желанием Максима сократить текст, либо тем, что славянский перевод восходит к греческому оригиналу, слегка отличающемуся от известного нам греческого текста.

Более того, переводчик совершает ряд "ошибок" (с точки зрения восточнославянского варианта церковнославянского языка), которые являются несомненными следами языковой практики Максима. Общепринято думать, что особенности языка (в моей формулировке – идиолексемы) Максима Грека, чуждые восточнославянскому типу церковнославянского, обязаны своим происхождением его прежнему знакомству с сербским или среднеболгарским языковым употреблением⁸.

Ср., например, II I, 35: *οὐχὶ τόπων ... μεταείψει*, 'не переменной мест': *цслав. tore*

⁸ О языковой практике Максима, ср. Mietta Baracchi. "La lingua di Maksim Grek." *Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere, Rendiconti, Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche*, I = vol. 105, fasc. II (1971), 253–280; II = vol. 106, fasc. II (1972), 243–267; Елена В. Кравец. "Книжная справа: переводы Максима Грека как опыт нормализации церковнославянского языка XVI века". *Russian Linguistics*, 15 (1991), 247–279. Ср. также Н. Olmsted. "A Learned Monk in Muscovite Exile: Maksim Grek and the Old Testament Prophets", *Modern Greek Studies Yearbook*, 3 (1987), 47; он же и М. Taube. "Povest' o Esfiri: The Ostroh Bible and Maksim Grek's Translation of the Book of Esther", *Harvard Ukrainian Studies*, 11 (1987), 108–117; он же. "К изучению библеистики Максима Грека". *Археологический Ежегодник за 1992 г.* (Москва, 1994). 91–100. – О языковых взглядах Максима и список рукописей Максима, исправленных им самим, см.: Е.В. Кравец-Тарасова. "К вопросу о языковой позиции Максима Грека", *Герменевтика древнерусской литературы*, т. 2 (Москва, 1989), 138–148.

Serbico не мѣстехъ ... премѣненіемъ, где то, что восточному славянину представляется loc. plur., действует как gen. plur. Ср. параллель в *Письме* Максима по поводу античной мифологии: сорок ... лѣтъ безмала прошли ужь, отнели отрекохся ... басней ... моихъ прародителехъ еллинехъ ("loc. plur." вместо gen. plur.); ср. противоположный случай: при Константинѣ и Ирини православнихъ царей⁹.

Суммируя, мы можем сказать, что Максим Грек был переводчиком своих собственных *Поэм* I и II. Эта гипотеза кажется более простой, чем та, что Максим был руководителем или корректором перевода, выполнение которого было доверено местному книжнику¹⁰.

Тезис о принадлежности Максиму перевода поэм может быть еще более усилен, если мы обратимся к славянской версии *Письма* Максима к князю Петру Шуйскому, греческий оригинал которого сохранен (частично?) в списке XVII века¹¹. Правда, Хрисанф Лопарев, издатель греческого текста, потратил много сил на то, чтобы доказать как раз обратное – что славянская версия письма абсолютно не могла принадлежать самому Максиму.

Усилия Лопарева были потрачены впустую, поскольку все его аргументы должны быть перевернуты с ног на голову, а перевод письма – атрибутирован Максиму Греку (сходная точка зрения уже высказывалась Хью Олмстедом в 1989 г.)¹².

Самым весомым аргументом здесь является то обстоятельство, что перевод содержит, по крайней мере, две идиолексемы Максима: (1) въ различныхъ напѣстехъ власти некоему, соответствующее новозаветной фразе *Πίσματα πειρασμοῦς ποικίλους περιπεσεῖν* (Посл. Иаков. 1:2 [во ѿскѣшеніа впадеете различна]; ср. также 1 Петр. 1:6 [въ различныхъ напѣстехъ]), "loc." на месте асс. и (2) *civ bo estъ ... показаніе благоразумія вѣрнѣйшихъ князей и боярехъ*, "loc." на месте gen¹³.

Мы можем, таким образом, утверждать, что Максим являлся переводчиком по крайней мере трех своих произведений. Мы можем даже сделать еще один шаг вперед.

Поэма II открывается следующим предложением (цитирую славянский перевод): *Понѣже убо Божественною помощію обличихомъ уже, еже на Спаса Христа, іудейское бѣсованіе, прииди прочее, о душе, обратимъ себе противу еллинскому зломудрію и дерзноглаголанію* (II II, 1–4). Таким образом, мы узнаем от самого автора, что существовало еще *Adversus Iudaeos* Максима по-гречески и что это произведение предшествовало *Поэме* II по времени. Контекст строк позволяет нам предположить, что это *Adversus Iudaeos* также было написано в стихах. Греческий текст этих антиеврейских стихов до нас не дошел, но сохранилась церковнославянская версия антиеврейского *Слова ... на Иудея*, озаглавленная "Слово о Рождествѣ Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в томъ же и на Иудея" (см. Казанское изд. (как в прим. 6), т. I, 39–51). Мы можем с уверенностью утверждать, что Максимово *Слово*

⁹ Ср. В.Ф. Ржига. *Byzantinoslavica*, 6 (1935–36), 101, 104.

¹⁰ Ср. Буланин. "Максим Грек" (как в прим. 5), 230 ("авторизованный перевод") и Буланин в: *Словарь книжников и книжности Древней Руси*, вып. 2, ч. 2, Л-Я (Ленинград, 1989), 91. Подобный местный книжник, компетентный настолько, чтобы переводить классицизирующую греческую поэзию, насколько я знаю, не представлен в источниках того времени.

¹¹ Ср. Хр. Лопарев. "Заметка о сочинениях преп. Максима Грека", *Библиографическая Летопись*, 3 (1917), 50–70 (греческий и славянский текст; славянский текст см. также в Казанском издании (см. прим. 6; т. II, 415–420). Главная ошибка Лопарева основана на допущении, что греческая рукопись представляла собой автограф Максима (скорее всего, рукопись – дефектная копия XVII века, хранящаяся сегодня во Владимире, ср. Буланин. "Максим Грек" (как в прим. 5), 229) и, следовательно, что разночтения между греческим текстом и славянским переводом доказывали, что последний был ошибочен. На самом деле, ситуация здесь прямопротивоположная. – Когда дело доходило до обобщений, инстинкт редко подводил Лопарева. Что же касается частных, то он обладал особым даром делать неправильные выводы, и это – несмотря на хорошее знание греческого и внимание к деталям.

¹² Ср. Н. Olmsted. "Maxim Grek's 'Letter to Prince Petr Shuiskii': the Greek and Russian Texts." *Modern Greek Studies Yearbook*, 5 (1989), 267–319.

¹³ Ср. Лопарев. "Заметка" (как в прим. 11), стр. 54 и 59.

... на *Иудея* является переводом, частичным или полным, поэтического греческого опровержения евреев, упомянутого в первых четырех строках *Поэмы II*.

Представляется, что мы должны добавить *Слово ... на Иудея* к списку церковно-славянских переводов Максима своих собственных поэм, написанных им высоким стилем. Мы можем даже сделать более смелый шаг вперед и задать общий вопрос относительно возможного греческого субстрата *всех* славянских трудов Максима Грека. Здесь следует двигаться от текста к тексту. Тем не менее, наше *Слово о покаянии*, наше *Слово на Еллинскую прелесть*, наше *Слово ... на Иудея*, наше *Письмо Шуйскому* составляют значительную группу подобного рода свидетельств. Отсюда следует, что каждый филолог, сталкивающийся с текстом Максима Грека, должен поставить перед собой вопрос: не восходит ли этот конкретный текст к греческому черновику, созданному автором?

Лексика и реалии наших двух греческих поэм Максима Грека, в целом, не отличаются от лексики и реалий других произведений Максима, известных нам в переводах. В дополнении к Св. Писанию и двум Григориям – Богослову и Нисскому (большое поле для аллюзий) – словарь Максима содержит гомерическую лексику, лексику *Греческой Антологии* (изд. Флоренция, 1494 или Венеция, 1503), цитаты и ссылки на Суду, византийскую энциклопедию X века (изд. Милан 1499) и *Собрания пословиц*. Следы этих источников в других произведениях Максима уже отмечались предшествующими учеными. Наши поэмы предлагают еще один, насколько я знаю, до сих пор не введенный в оборот "максимоведения", источник его лексических заимствований. Я имею в виду старшего друга Максима Грека, его учителя и покровителя Яноса Ласкариса (ок. 1445–1534), которому мы обязаны изданием *Греческой Антологии* и чье собрание 84 *Эпиграмм*, написанных в разное время элегическим дистихом, было издано впервые в 1527 г.¹⁴

Поэмы Максима содержат до 70 общих лексем с *Эпиграммами* Ласкариса (подсчету подвергались, естественно, редкие и малоупотребительные слова). Они образуют устойчивую группу, которая, на мой взгляд, указывает на знакомство Максима Грека с поэтическим словарем Ласкариса, знакомство, которое было достигнуто или в процессе взаимного обмена идеями (*бсмос*), или благодаря внимательному чтению эпиграм.

Чем пользовался Максим, когда заимствовал цитаты и лексику для своих *Поэм*? Обращался ли он к своей памяти или консультировался с письменными или печатными материалами, которые находились у него перед глазами? Перебирая одну цитату за другой, мы все еще колеблемся между *бсмосом*, памятью и сверкой с текстом, поскольку этот ответ зависит также и от места и даты написания наших поэм; к сожалению, пока ни о том, ни о другом мы ничего с определенностью сказать не можем (даже если *Поэма I*, 23–24 может иметь в виду споры о нестяжательстве в Московии той поры).

В русистике (и не только написанной по-русски) Максим, хотя и прозванный "Грек", воспринимается как писатель (древне)русской литературы. Такое его восприятие связано, по всей видимости, с его долгим пребыванием в Москве и с тем, что основная масса его трудов сохранилась на церковнославянском XVI века, т.е. на языке, который воспринимается как часть русской культуры¹⁵. Греческая поэзия Максима

¹⁴ Я пользовался прекрасным изданием Анны Мескини (Anna Meschini), *Giano Laskaris. Epigrammi greci* [= Università di Padova, Studi bizantini e neogreci, 9] (Падуя, 1976) и парижским изданием 1544 г. (воспроизводящим Предисловие к изданию 1527 г.). О карьере Яноса Ласкариса, см.: В. Кпѳс. *Un ambassadeur de l'hellénisme, Janus Laskaris ...* (Uppsala–Paris, 1945); об отношениях между Ласкарисом и Максимом, см. E. Denissoff. *Maxime le Grec et l'Occident...* (Париж–Лювэн, 1943), *passim*.

¹⁵ Ср. Д.М. Буланин. "Источники античных реминисценций в сочинениях Максима Грека". *Труды Отдела Древнерусской Литературы*, 33 (Ленинград, 1977), 67: "такого количества античных реминисценций, как в сочинениях Максима Грека, нет ни у одного древнерусского автора до XVII в.". Ср. также G. Birkfellner в *Wiener Slawistischer Almanach*, 10 (1982), 21–22, который считает, что к сочинениям Максима,

Грека (некоторые примеры которой известны уже более 90 лет) практически не обсуждалась в русской научной литературе, за исключением часто цитируемых 16 строк, написанных элегическим дистихом, известных только в цслав. переводе¹⁶.

В греческой научной литературе и беллетристике Максим понимается, без сомнения, как грек, но скорее как "духовный наследник" Кирилла и Мефодия и как "просветитель" (слегка варварских) "русских"¹⁷.

Недавно опубликованные поэмы должны помочь изменить эту перспективу. Сегодня поэтическое наследие Максима Грека насчитывает 533 строки, написанные в высоком стиле, и если принять мое предположение о том, что *Слово ... на Иудея* является церковнославянским переводом его поэмы, написанной элегическим дистихом на ту же тему, то тогда греческая поэтическая продукция Максима будет насчитывать более чем 800 строк. Для сравнения будет полезно обратиться к поэзии других греческих авторов, живших более или менее в одно время с Максимом.

Янос Ласкарис создал 691 строку эпиграмм; *Эпиллион* Димитриоса Мосха (*Повесть о Елене и Александре*, т.е. о Парисе; Реджио д'Эмилия, 1499) содержит 461 строку гекзаметром (он также написал 20 эпиграмм элегическим дистихом, которые не должны превышать 160 строк); *Плач* Антония Эпарха о разорении Греции, посвященный Папе Павлу III (Венеция, 1544) насчитывает 103 элегических дистиха; а знаменитый *Гимн Платону* (Венеция, 1513), написанный элегическим дистихом Марком Мусуром, учеником Ласкариса и знакомым Максима Грека, содержит чуть более 200 строк (между прочим, поэзия Мусуроса содержит те же характеристические лексические черты, что и греческая поэзия Максима). Таким образом, Максим предстает как, возможно, наиболее продуктивный поэт, пишущий в высоком стиле, среди представителей первого поколения интеллектуалов-эмигрантов, рожденных после падения Константинополя.

То, что можно было бы только предполагать на основании нескольких поэтических строк Максима, теперь, после издания его поэм, можно утверждать с уверенностью. Славянское литературное одеяние Максима, в которое он, возможно, только переоделся, не должно увести нас в сторону: мы вправе рассматривать его как поэта ранней греческой диаспоры, вовлеченного – на свое несчастье – в дела страны, в которой он пребывал, и поучающего на церковнославянском языке правителя этой страны о необходимости освободить Константинополь; точно также, как его более удачливые греческие собратья, обретающиеся на Западе или в Валахии, вовлекались в местные дела и поучали своих покровителей на латыни о необходимости изгнания турок из Греции.

Из этого следует, что отныне специалисты, рассматривая Максима как греческого поэта, должны сопоставлять его с другими его коллегами по греческой диаспоре¹⁸.

"этого особого явления московской культурной истории", едва ли применим современный ярлык "публицистика" "в контексте древнерусской литературы". – Заслужой Хр. Лопарева (ср. "Заметка" (как в прим. 11), 65–66) явилось то, что он поместил Максима в контекст неозеллинской культуры уже в 1917 году. В пассажах, которые, как кажется, прошли незамеченными, Лопарев задавался вопросом, не следует ли рассматривать Максима как замечательного деятеля литературы "новой Греции" скорее, чем "России". Лопарев надеялся, что Максим будет поставлен в один ряд с такими "византиствующими" учеными и богословами, как Мартин Крузий, Феодосий Зигомала и Симеон Кавасила. Недавно опубликованные поэмы Максима позволяют поместить его в круг классицизирующих поэтов типа Яноса Ласкариса и Марка Мусуроса.

¹⁶ Ср. *Сочинения преподобного Максима...* (как в прим. 6), т. III, 286–289.

¹⁷ См. Г. Παπαμιχαήλ, *Μάξιμος ὁ Γραικός: ὁ πρῶτος φωτιστὴς τῶν Ῥώσων* (Афины, 1951), *passim*; К. Σαρβελῆς, *Μάξιμος ὁ Γραικός* (Амарусион [Ἀμαρούσιον], *sine anno*, но после 1951), 10.

¹⁸ Об "ученых" поэтах греческой диаспоры, ср., например, Линос Политис, *Ποιητικὴ ἀιθολογία ... Βιβλίον δεύτερο, μετὰ τὴν Ἀλωσὴν (15ος καὶ 16ος αἰῶνας)* (2-е испр. изд., Афины, *sine anno*), см. Приложение, стр. 143–150; С.А. Τρυπῆς. *Greek Poetry from Homer to Seferis* (Лондон–Бостон, 1981), ср. стр. 577–578. То обстоятельство, что Политис посвятил только 8 из 150 страниц своего труда поэзии, написанной в "высоком" стиле, а Трипанис уделил поэзии, написанной античным греческим языком поэтами греческой диаспоры, только 1 из почти 900 страниц своей книги, объясняется более чем вековой традицией предпочтения поэзии, написанной на "живом" языке, по отношению к поэзии, написанной на "мертвом" классическом. В. Κνός. *Histoire de la littérature néo-grecque. La période jusqu'en 1821* (Стокгольм–Гётеборг – Уппсала, 1962), 298 посвятил всего три строки грекоязычной литературной деятельности Максима.

Исследователь недавно открытых поэм Максима все еще встречается с целым рядом загадок. Еще придется установить время, место и цель их создания; их антиренессансный характер, столь разительно противопоставленный их классицизирующей форме, еще ждет своего объяснения; еще остаются нераскрытыми личность и происхождение получателя *Поэмы II*, человека, спрятавшегося под криптонимом "Макробий". Терпеливого исследователя ждет и более рутинная задача – установить источники поэм – возможно, некий аскетический компендиум для *Поэмы I* и апологетический для *Поэмы II* (Феодорит Кирский, труды которого переписывал Максим Грек? однако большинство аргументов восходит ко II веку н.э.).

С другой стороны, мое исследование (в своем полном виде¹⁹) может предложить и ряд положительных результатов. Читателю был представлен более надежный текст обеих поэм и приведены доказательства того, что переводчиком и автором поэм является одно и то же лицо, т.е. сам Максим. Исследование также содержит некоторые предложения и вопросы. Одно предложение высказано имплицитно: напоминание *всем* исследователям о том, что предпосылкой для оптимального изучения Максима Грека является хорошая осведомленность в греческой литературе и языке. Другое предложение, которое, надеюсь, встретит одобрение моих греческих коллег, связано с изменением перспективы: я предлагаю рассматривать Максима не только как просветителя "русских" (ученые уже следовали по этому пути некоторое время), но как писателя и поэта ранней греческой диаспоры. В процессе изучения Максима как переводчика своих собственных текстов на церковнославянский язык возникает и еще один вопрос: до какой степени мы можем – или должны – предполагать, что за сохранившимся славянским текстом данного труда Максима стоит его греческий черновик или оригинал?

Я думаю, что это неплохо – закончить мое сообщение вопросом, ибо мы скорее нащупаем правильные ответы, касающиеся личности Максима и его трудов, если мы будем задавать себе правильные вопросы.

¹⁹ См. прим. 7.



© 1998 г. ЮДИН А.В.

ИМЕНА ПЕРСониФИЦИРОВАННЫХ ЛИХОРАДОК В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЗАГОВОРАХ: ПРОБЛЕМА ВАРИАТИВНОСТИ

Восточные славяне представляли персонифицированных лихорадок (трясовиц) в виде 12 (7, 9, 77 и т.д.) простоволосых безобразных дев-сестер, одетых в неподпоясанные лохмотья или нагих, иногда слепых или безруких, в лубочной традиции иногда разноцветных, появляющихся обычно из моря (озера). Заговоры против них относятся, по словам В. Мансикки, "к обширному общехристианскому циклу апокрифических молитв, схема которых сводится к следующему: где-нибудь на святой земле происходит встреча святых с олицетворением болезни; на вопрос отвечает злой дух, кто он такой и куда он намеревается, – святые запрещают мучить людей и выгоняют его" [1. С. 15–16]. Генезис этих текстов¹ и этимологии греческих, южно- и восточнославянских имен духов-лихорадок достаточно изучены еще в прошлом веке [2; 3. С. 40–53; 4. С. 87–90; 5–9]; из новых работ особенно [10; 11], где изложены основные результаты, полученные предшественниками. Зачастую лихорадки наделяются именами, произнесение которых гарантирует магическую эффективность заговора. Эти имена чрезвычайно разнообразны, абсолютно идентичных их перечней практически не существовало, хотя многие различались незначительно. Большая их часть вполне прозрачно мотивирована различными апеллятивами. Этим, казалось бы, и исчерпываются задачи этимологии собственных имен, которая, как известно, есть не более, чем возведение имени к ближайшему апеллятиву или другому имени собственному. Но дело в том, что, во-первых, большинство на первый взгляд прозрачных имен возникло в результате многократных искажений и народноэтимологических переосмыслений, потому говорить в подобных случаях можно только о синхронической мотивации, но едва ли о научной этимологии. Во-вторых, чаще всего невозможно установить даже относительную хронологию фонетически близких форм и вариантов, определив, какая в каждом случае форма является исходной, а какая – позднейшим

Юдин Алексей Валериевич – канд. филол. наук, доцент, докторант Южноукраинского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского (г. Одесса).

¹ Они возводятся к византийским легендам о Гилло (Γύλλω, Γύλου), похитительнице детей, побежденной братьями Сисинием и Сисинодором (обычно называются 12 с половиной имен Гилло), и известному апокрифу "Завещание Соломона" ("Testamentum Salomonis"), содержащему заклинания названных по именам астральных духов.

искажением или переосмыслением. Потому речь в дальнейшем может идти чаще всего не о выделении пар или рядов форм типа: этимон – производное имя, но скорее о построении ненаправленных рядов равноправных гомо- и, возможно, гетерогенных форм или даже их полей, концентрирующихся вокруг "ядра" из нескольких близких и часто встречающихся имен. Эти ряды или поля могут при возможности ставиться в соответствие с инославянскими и греческими формами. В качестве критерия наличия "родственных связей" имен используется не только близость их фонетического облика или внутренней формы, но и порядковый номер в перечне, ближайшее окружение в нем и пояснения, которыми сопровождаются имена в некоторых списках.

Рассмотрим основные ряды (поля, парадигмы) имен, являющие собой совокупности форм, способных выступать в той или иной определенной позиции конкретной синтагмы-перечня, связанных отношениями сходства (фонетического облика, внутренней формы) и чаще всего (но не обязательно) не сталкивающихся в пределах одного списка-перечня. Нами были использованы 62 опубликованных восточнославянских текста, 7 южнославянских и 4 греческих, которым ради удобства ссылок присвоены номера от 1 до 73. Первая цифра после имени означает номер списка, откуда оно извлечено, вторая – порядковый номер имени в перечне лихорадок. Источники указаны в конце работы. Заметим также, что вариативность имен лихорадок весьма мало зависит от фонетических законов и диалектных особенностей в силу преимущественно письменного бытования трясовичных заговоров. Зато очень велика роль ошибок и описок переписчиков, особенно в словах незнакомых и непривычно звучащих, что и привело к возникновению целых "полей"² близких форм.

Чаще всего в наших источниках встречаются имена из парадигмы, в которую входит и самое распространенное народное название лихорадки вообще – *трясо(а)вица*. Вот эти имена³: *тряся*: 1–1, 2–1, 3–1, 8–1, 11–1, 19–1, 53–2, 60–1, 62–1, 63–1; *тряся*: 31–1; *тресея*: 7–1, 17–1, 56–2 (8); *трясъя*: 8–1; вне списков встретились *тряся сатана* [10. С. 49], *трясье* [12. Т. 2. С. 258], *тресня* [11. С. 77], а также *греся* [11. С. 77], вероятно, результат описки. Имена с другими формантами: *трясовица*: 21–11, 22–12, 24–1, 27–1, 32–12, 38–3, 39–1, 42–8, 69–11; *трясавица*: 63–12; *тресовица*: 8–12; *трасовица*: 39–1; *трясавица*: 55–1; украинск. *трясовиця*: 26–1; *трясаница* [10. С. 49] (вне перечней); *трясуница*: 12–8, 41–4; *трясун*: 23–1; *трясуха*: 9–2, 13–3, 37–1, украинск. 67 – без ном.; *трясучка*: 13–3; *тресучка*: 57–7; *потресуха*, *тряса*: 2–1. Обычные комментарии: "яко печь распялет дровами, тако я распяляю у человека все члены и кости": 6–1; "не может человек согреться в печи, и то же падаю, роняю, припадки разные навожу": 23–1. «В старинных поучительных словах XV–XVI стол., – пишет Афанасьев, – упоминается про "немощного беса, глаголемаго т р я с ц ю"» [13. Т. 3. С. 86–87]. Близкий круг общих названий лихорадки у Даля: *трясучая* болюсть, *трясучка*, *трасавица*, *трясуха*, *тряса*, *трясеница*, *трясунья*, *трясь*, *тресея*, *тряся* [12. Т. 4. С. 439]. Ср. в опубликованном А.Н. Веселовским старославянском списке XI в. из глаголического Евхология Синайского монастыря: "трясущая виѣлицею въ тѣлеси" и "трясущая всѣми удами": 66–3, 5. К этому же кругу следует причислить по общности внутренней формы названия типа *дрожжалка* [10. С. 49]. Вследствие искажения возникло, вероятно, имя *трепуха*: 13–12; переосмысленное через *трепать*.

Вторая по объему парадигма вводит нас в более общий круг "цветовых" названий (на иконах и лубочных картинках трясовицы изображались разноцветными). Она связана с желтым цветом: *желтея*: 1–7, 2–9, 3–9, 7–8, 10–8, 11–9, 19–8, 31–9, 40–9, 36–

² Термины "поле" и "парадигма" мы используем как синонимичные, но подчеркивающие разные стороны одного явления – группировки сходных имен, не имеющих канонической формы, вокруг ядра из близких и часто встречающихся форм при диффузных, взаимопроникающих границах группировок и при наличии внутри последних отношений фонетического сходства между именами, которые обычно не могут присутствовать в одном и том же тексте.

³ В дальнейшем все названия лихорадок, кроме трансонимизированных антропонимов, мы будем писать со строчной буквы ввиду несущественности этого признака и произвольности его в источниках.

10, 56–3, 60–9; желтъя: 3–9, 17–9, украинск. 26–9, 55–9; желтая: 8–5, 20–2, 52–9, 62–9, 64–1; жовтая якъ квѣтъ: 51–7; жовтая: украинск. 15–6; желтуха: 13–7, 37–8, 65–10; желтыня: 64–8; желтица: 16–11; жолотица: 58–10; желтуница: 12–7, 41–5; желтодия: 6–6, 27–6; желтудия: 38–8; желуница: [11. С. 81]; жола: 51–4; желъя: 30–5. Обычные комментарии: "сотворю человека, аки цвет дубравный, и напущу желчь": 3–9; "та человека желтит, аки цвет будет": 7–8; "тогда человек бывает желт, как в курином яйце желток" [8, С. 128]; "яки в поле цвет цветет и желтеет, тако и у того человека тело тает и увядает": 6–6 и т.п. У Даля: желтая болезнь, желтуха, желтя(е)ница, желтуница, желтянка, жолуница, желница, жолница со значением болезни Боткина [12. Т. 1. С. 531].

Приведем здесь же и прочие "цветовые" парадигмы, хотя они значительно меньше по объему. Черный цвет: черная якъ лѣсъ: 51–4; украинск. чорна: 25–6; черная: 54–6; ср. испорченное имя из списка XVII в. *чръни...*: 5–11. Белый: бѣлая: 24–9; белея: [10. С. 49]; ср. блѣдная: (ниже, 57–11). Зеленый: зеленая: 20–1, 64–2; зелена: 12–2; ср. яко трава зеленая: 29–2. Синим цветом мотивирована часть более широкой парадигмы: синяя якъ облакъ: 51–5; синя: 12–1, 41–2; синея: 63–5; синая: 65–5; синяя яко море возмущенное: 29–3. В почти идентичном 63-му перечне № 32 на том же пятом месте стоит *снея* – явный пропуск буквы. Но переосмысление этой или аналогичной ошибки могло породить имя *сонная*: 57–10. К этому же полю, на наш взгляд, принадлежат названия *осенняя*: 12–10, 41–11; и *asinawaja*: белорус.: 73–9; а весь круг может восходить – непосредственно или опосредованно – к общему источнику с именем из сербского списка *асина*: 71–3, ср. там же *инасина*: 71-еі. Ср. также сведения об использовании на Волыни осиновой коры в качестве средства от лихорадки [14. С. 8]. Известны гуцульские поверья, связанные с лесным демоническим существом *Осинавец* (и *Осинаўчиха*), подменивающим детей и проч. – возможно, эвфемистическое наименование черта [15. С. 83–89]. Вспомнив также о круге представлений, связанных с балто-славянским мифологическим персонажем *aus-in- (ср. а/овсень, Ūsiņš и др., [16. С. 287; 17; 18]), получим ономастическую парадигму, выходящую за пределы трасовичного ономастикона.

Имена типа *белая*, *бледная* связаны, возможно, с Мармароѵ греческих списков: 4–4 (ср. 44–6), от *μάρμαρος* 'блистающий, сверкающий' [8. С. 129]. Антиподом *осенней* является *везняна*: 38–12 (впрочем, *везяна* другого списка: 10–12; – выдает, возможно, переосмысленную опisku из *невяны*: 9–12); белорус. *веснянка*: 28–1 (= 'лихорадка' [19. Т. 4. С. 187, 227]). О весенних и осенних лихорадках см.: [20. С. 30]. Двигателем имятворчества, как мы видим, может быть не только переосмысление темных и искаженных форм, но и чисто интеллектуальные механизмы, типа аналогии или метафоры. По последнему принципу (а также в связи с названием месяца) *осенняя* могла породить *листопадную*: 41–12, 65–5; также *листопадница*: белорус.: 28–4; в белорусской же записи известна своего рода оппозиция: *listaadzie / watnaja* – "господствующая весной" (от "лист" и "одевать"): 73–6; и *listapadnaja* или *jesienna*: 36–7. Встречается *листопуха*: 21–1, 22–1, которая включает в рассматриваемое поле несколько сходных имен типа *лопуха*: 21–3, 22–2; *лопия*: 38–5 (ср. *лопнуть*); *лоспея*: 38–6; *лостения*: 9–6, 37–7; повторяющиеся звуковые комплексы указывают на генетическое родство всех этих форм, но установить первичность едва ли возможно. Впрочем, *лопия* вполне может оказаться искаженной *ломей-ломией*, о которой речь ниже.

Следующим по объему после "желтого" оказывается поле имен, связанных, по мнению О.А. Черепановой, с корнем *kъgk- 'корчить' [10. С. 53]. Возможно сравнение и с литовск. *kãkas* 'дракон, чудовище'. В это поле входят: *коркуша*: 2–10, 6–4, 11–10, 22–5, 27–4, 31–10, 60–10; *каркуша*: 1–12, 21–4; *корхуша*: 38–10; *коршуха*: 22–4, 52–10; *корноша*: 7–11; *окоркуша* (*окоркуца*): 17–10; *коркота*: 3–10, 53–10, 62–10; *корхотия*: 9–7, 37–5; *корхуша*: 37–6; *коркодия*: 6–5, 27–5; *корикорта*: 3–10; *коркорта*: [11, С. 77]; *коркотей*: 3–10; *корчя*: 19–10, 72–7; *скорчя*: 56–9, 61–9; *корчуша*: 40–10. К

этому ядру примыкает группа периферийных имен, удаляющихся от основного фонетического скелета и меняющих мотивацию. Это *горькуша*: 55–5 (украинск. *гарькуша*: 26–5) и *крикуша*: 55–5, украинск.: 26–6; затем *рабънуша* и *стаскуша*: 52–10, принадлежность последних к рассматриваемой парадигме определяется, кроме общности форманта, пояснением: "та утробу и жилы ручныя и ножныя у человека сводит и скорчит". Обычный же комментарий к названию выглядит так: "коего человека поймаю, тот человек корчится вместо руками и ногами, не пиет, ни яст": 72–7. Здесь же *укуша*: 36–11 (через "укусить"); и *авваркуша*: 1–4; ее можно сопоставить с редким новогреческим словом $\alpha\beta\alpha\rho\kappa\upsilon\alpha$, что значит $\lambda\iota\delta\acute{o}\zeta$, т.е. 'голод' [21, С. 4], ср. *голодея*; близко находится и имя из сербского списка *аверия*: 46–3; которое, в свою очередь, сопоставляется с рядом русских: *авей*: 1–8; ср. *невей*; *ария*: 18–8; *ерия*: 51–5; из последнего вполне могло образоваться *егия*: 39–12; от которого уже недалеко до *ногия*: 39–6; которое при неразборчивом почерке вполне может быть прочитано как *нешия*: 42–6 (ср. *нешуя*: 51–3); откуда вновь недалеко до *невия* (невей). Едва ли можно утверждать, что в действительности трансформации шли именно так, но диффузное взаимопроникновение полей-парадигм вполне очевидно. Ср. также *непирия*: 33–8, 35–7; и *напирия*: 34–8.

С другой стороны, к *каркуше* примыкает *рактуша*: [11. С. 81], которая, возможно, была переосмыслена как *рыкающая*: 64–6; (ср. сербское *лъвъ*: 45–аі). Облик последней напоминает *грынуша*: 2–5, 60–5, 61–5; которая "ложится у человека в грудях, плечи гноит и выходит харканьем", чем чрезвычайно напоминает, в свою очередь, *хрытушу-хрипею*, о которой ниже. В Словаре русских народных говоров представлены: вып. 6 – гаркуша – 'крикун, крикунья'; гарько – 'ярко' (гореть); вып. 7 – горькуша – 'польнь' и другие растения, некоторые рыбы, 'несчастный, горький человек'; гриня – 'гридница, изба' (ср. *грынуша* – 'избяная?'); вып. 8 – егать – 'сильно пылать, злиться, сердиться' (ср. *егия*); вып. 13 – каркота, коркота – 'старая, хилая женщина'; каркуша – 'ворона, кукушка'; 'женщина, любящая поговорить'; коркота – 'кашель' (ср. *кашляя*). Все эти слова, как и глагол *корчить*, вполне могли использоваться при переосмыслении лихорадочных имен. У Даля: корчи – болезнь судороги, спазмы, корча, встарь коркота. Корчая – упорная перемежная лихорадка [12. Т. 2. С. 171]. Рассмотренную парадигму можно сопоставить с именами из греческих перечней: $\chi\alpha\rho\tau\acute{\alpha}\rho\iota\sigma\tau\acute{\alpha}$: 47–9; $\chi\alpha\rho\chi\alpha\nu\iota\sigma\tau\acute{\rho}\epsilon\alpha$: 43–9; $\chi\alpha\rho\chi\alpha\rho\iota\sigma\tau\acute{\rho}\alpha$: 44–11; ср. новогреч. $\chi\acute{\alpha}\rho\omicron\zeta$ 'смерть' и $\rho\alpha\rho\iota\sigma\tau\acute{\omega}$ 'представлять, изображать'; древнегреч. $\kappa\alpha\rho\alpha\nu\sigma\iota\tau\acute{\eta}\zeta$ 'рубящий головы, лишаящий жизни'. В. Мансикка сопоставлял *корчушу* с $\sigma\tau\alpha\rho\tau\acute{\omega}$ в аналогичной латинской формуле заклинания от *Nescia* (ср. *невей* и лат. *ne-scio* – 'не знать, не быть знакомым', а также *нешия*) [1. С. 18], славянского Нежита. О.А. Черепанова сопоставляла *кородию* с греч. $\kappa\alpha\rho\acute{\omega}$ 'погружать в тяжелый сон, оцепенение' или $\kappa\omicron\rho\upsilon\zeta\alpha\zeta$ 'страдающий сильным насморком', $\kappa\omicron\rho\upsilon\zeta\alpha$ насморк, гнойное истечение из носа; 2. тупоумие' [10. С. 53].

Вернемся к *хрыпуше*: 62–5; к которой мы пришли через *грынушу* (на существование этой связи указывал еще Е.А. Ляцкий [8. С. 127]). С ней связана отдельная группа имен с комментариями типа: "стоя кашлять не дает, у сердца стоит, душу занимает, исходит из человека с хрипом": 31–5; "ложится у груди человека, изъумножит мокроту гноем, хрипоту чинит": 52–5 и т.п.: *хрипуша*: 31–5, 52–5; *хрипущая*: 19–11; *хрипучая*: 8–9; *хрипея*: 3–5; *хрипуха*: 53–8; *хрипота*: 21–6, 22–7; *хрипувита*: 40–5; *хрпуша*: 1–5. Сходство комментариев сближает с этой парадигмой две небольшие обособленные группы имен. Имя беса *Давотной*: 23–5; снабжено пояснением: "к горлу приступает, хрипит, кашлять не дает, у сердца стоит, душу зажимает, есть не дает". Аналогичны *давляя*: 36–8; *дауница*: [11, С. 81]; ср. в славянском списке иже дѣти давить: 45–s; дѣ...ишдаважца: 5–e; что сопоставимо с греческим именем $\Pi\alpha\iota\delta\omicron\tau\iota\kappa\iota\rho\iota\alpha$: 4–12; от $\Pi\alpha\iota\delta\iota(\omicron\nu)$ 'дитя, ребенок, мальчик, подросток, юноша' и $\Pi\iota\upsilon\omega$ 'душить, давить'. Близкое пояснение ("ложится у человека в грудях, у сердца и находит хрепотой") сопутствует странной форме *усма гулбилца*: 17–5; в другой публи-

кации она воспроизводится в более понятном виде: *успагубица*: [8. С. 127]. Вторая половина этого названия близка группе имен: *убица*: 34–4, 35–4; *убийца*: 18–3; *оубъица*: 33–5; которые находят соответствия в сербских текстах: *убица*: 71–, 48–6, 50–18. Первую часть можно сопоставить с древнерусским названием выделанной кожи *усма* (ср. *Яна усмошвеца* из Никоновской летописи [22. Т. 9. С. 68]).

Следующее по величине после связанного с корнем *корк*-поле группируется вокруг имен, осмысленных через "огонь": *огня*: 1–2, 2–2, 3–2, 10–1, 31–2, 53–5, 56–5, 60–2, 61–2; *огня*: 17–2, 72–2; *огненная*: 2–2, 20–7, 41–7, 52–1, 62–2, 64–7; *огненная*: украинск.: 15–1(2); *огневица*: 21–10, 22–11, 40–2, 55–2; *огневица*: украинск.: 26–2; *огнеястра*: 2–12, 72–12 (из *огня* + *сестра*: имя зафиксировано только на последней в списке позиции, где имена обычно снабжаются постоянным комментарием, начинающимся словом "сестра" – старейшая, проклятейшая и т.п.; видимо, в результате искажений и описок первое слово комментария слилось с самим названием); *огненный*: 23–2; *ahniewaja*: белорус.: 73–11; *огнева*: [10. С. 49]; *якъ огонь*: 51–3; *огня страшнаго*: 12–12. Комментарии: "коего человека поймаю, тот разгорится аки пламень в печи": 2–2; "зжет и палит человека велики тьшко": 52–1. В Словаре русских народных говоров, вып. 22: *огневица*, *огневушка*, *огненная*, *огня*, *огни* – 'горячка, лихорадка'.

Корневое сочетание ГН роднит предыдущее поле с другим, почти столь же значительным, имена которого осмыслены через "гнет": *гнетя*: 2–4, 3–4, 7–2, 8–3, 11–2, 19–2, 31–4, 56–1, 60–4, 61–4, 62–4; *гнетница*: 2–4; *гнѣтница*: 54–2; *гнетья*: украинск.: 25–2; *гнутная*: украинск.: 15–4; *гнетуха*: 13–4, украинск.: 67 – без номера; *гнетиха*: 69–12; *гнятеница*: 21–9, 22–10; *гнетуница*: [10. С. 48]; *гнѣтуха спящая*: 20–11; *гнетучка*: 2–4, 57–6. Пояснения: "ложится у человека на ребра, гнетет его утробу...": 2–4, "ложится у человека по у ребре, аки камень, здыхает, здохнѣть не дает, с души сметывает": 31–4 и т.п. К этой же парадигме принадлежат, очевидно, *гтея*: 32–8 и *гатея*: 63–8; из разных версий одного перечня, а также *йудея*, снабженная пояснением "ложусь у человека под ребро, как камень, вздохнуть не может": 40–3. В Словаре русских народных говоров, вып. 6, представлены названия лихорадок: *гнетя*, *гнетница*, *гнетуница*, *гнетуха*, *гнетучая*, *гнетучка*.

От *йудеи* (чье название, видимо, мотивировано благодаря отрицательным коннотациям слова "иудеи" в народном сознании – "Христа распяли") перейдем к *гнеде*: 7–4; которой сопутствует пояснение "человеку не дает спать, приступает и умом метут", что доказывает ее родство с *гледеей-глядеей*, комментируемой так: "в нощи спать не дает, многия беси к тому человеку приступаются и с ума его сбрасывают, и спать не дают: на месте не сидит": 31–11. В этом поле: *глядя*: 1–3, 11–4, 72–11; *глядѣя*: 2–11; *глядѣя*: 60–11; *гледея*: 31–11. Последняя форма сравнима с *ледеей*, о которой ниже. В этой же парадигме группа: *гледея*: 17–11, 19–4; и *глядѣя*: 17–11, 40–11; эти формы, переосмысленные через *глад/голод*, породили, возможно, *голодею*: 3–11, 62–11 (одиннадцатые позиции практически всех имен данного круга подтверждают их родство), которая была снабжена новым объяснением: "у кого буду и тот человек не может до сыта наестись, аки из ума выступит": 3–11. Ср. греч. Ἀπλετοῦ: 46–8 – 'то, чего нельзя наполнить', т.е. – "ненасытная" [8. С. 129]. Благодаря комментарию ("коего человека поймаю, тот человек не может насытиться многим брашном") здесь оказывается тождественная *иудея*: 72–6; а также *неядея*: 19–9; с которой сходны *нелюдя*: 6–11 (через "нелюдь", но комментируется как *глядя*); *полюбия*: 37–10; *нелюбия*: 38–9; *немодя*: 27–11 (видимо, через "немой" и "десять"); а с *неядеей* сравнима *яда*: 40–12; выводимая, впрочем, Е.А. Ляцким из *Иродияды*-плясовицы, что подтверждается 12-й позицией, котору занимает обычно и соотносимая с последней *Невея*. Ср. также *маритада*: 46-д; из сербского списка, а также *голяда* (см. ниже). С *гледеей* может быть связана также *глеция*: 11–11. Мотив бессонницы и бесовских наваждений присутствует также в комментарии к именам бесов *Пьяного* и *Распутного*: 23–11.

Следующий переход – от *гледей* к *ледее*, семантической противоположности *огнеи*. Известны формы: *ледея*: 2–3, 3–3, 7–3, 10–2, 11–3, 31–3, 56–6; *ледея*: 53–6(7); *ледиха*: 2–3, 72–2; *леденая*: 8–2; *ледзянка*: белорус.: 28–2; *аки лед*: 12–3; *акилед*: 41–8; *Ledawaја*: белорус.: 73–12; *оледия*: 58–7; *оледья* 16–5; сочетание ЛЕД роднит с этим полем имена *бледная*: 57–11; *блѣдуха*: 13–8; ср. также *зублея*: 36–6 (от холода, озноба стучат зубы; впрочем, может иметься в виду и зубная боль). Обычные пояснения: "аки лед знобит род человеческий, и кого она мучит, тот не может в печи согреться": 2–3. На основании глагола "знобить" появляется следующее семейство имен: *знобея*: 53–9, 56–10, 61–10; *знобѣя*: 26–3 (украинск.), 55–3; *знобая*: украинск. 15–9; *знобуха*: 13–11, 37–2; *знобиха*: 21–8, 22–9, 68–10; *знобица*: 32–11, 63–11; *озноба*: 57–1; *знобительная*: 20–8; *злябуха*: украинск.: 25–1, 54–1; *знобилка*: [12. Т. 2. С. 258]. Ср. два описания из списка XI в.: мразящая плоть: 66–4 и творящая клѣчетъ зубы: 66–6, а также греч. *φουρανοσπλά(σ)τρια*): 46–11 – 'сжимающая холодом, замораживающая' [8. С. 130]. С некоторой натяжкой с *ледеей* сравнима также *плѣтъя*: 54–3 (укр. *плитія*: 25–3). К этому же семейству принадлежит *медія* (*мѣдія*, *медия*): 6–2, 27–2; *мидія*: 68–6; снабженная пояснением: "зноблю бо у человека все члены, и тот человек не может согреться в печи". Основываясь на сходстве имен и комментариев, Е.А. Ляцкий к этому кругу причислил также *голяду*: 18–11 (ср. в Словаре русских народных говоров, вып. 6: *голяда* – 'неимущий человек, бедняк'; также древний балтийский этноним *голядь*), а все поле возвел к *Гулоѡ*, Гилло греческих перечней 4–1, 43–1, 47–1, что вызывает у нас некоторые сомнения (см. [8. С. 124–125]). Ср. также *голендук*, *колендук*: 33–11, 34–11, 35–11 (возможно, связано с *голендай*, *голендуха* – собир. 'голь, голынь, голяк, голыш' в значении бедняка, нищего, бедности, нищеты [12. Т. 1. С. 372]), а также *лядвия*: 59–4; ср. *лядвеля* – 'бедро, ляжка', также в Словаре русских народных говоров, вып. 17: *ляда* – 'заразная болезнь', *лядять* – 'болеть', *лядва* – 'лентяй, лентяйка, лежебока', отсюда же украинск. *ледаций* – 'ленивый'.

Еще одно обширное поле связано с глаголом "пухнуть". Это *пухнея*: 2–8, 60–8, 61–8; *пухлея*: 1–6, 2–8, 3–8, 10–9, 16–9, 38–7, 52–11, 53–4, 56–4; *пухлия*: 62–8; *пухлія*: 6–9, 27–9; *пухья*: 11–8, 17–8; *пухлѣя*: украинск.: 26–8, 55–8; *пухлая*: украинск.: 15–11, 2–8, 24–7, 59–2; *пухія*, *пухища*: 40–6; *опухлая*: 52–8; *пухотной*: 23–6; *пухота*: 21–5, 22–6; к этому же ряду относятся *тухія*: 42–5; *духья*: 38–4; комментарии: "роздувает человека опухолью": 52–8, "надымаю у человека брюхо, аки пузырь говяжий, душу занимаю, проговорить не даю, тяжесть делаю": 23–6 и т.п. Сюда же *дутая*: 20–4, 64–4; *дутиха*, *отекная*: 2–8, 57–12; ср. *листопуха* (выше).

Следующая парадигма осмыслена через глагол "ломить": *ломея*: 2–7, 7–10, 19–6, 31–7, 60–7, 61–7; *ломѣя*: 17–4; *сломея*: 52–10; *ломлея*: 3–7, 10–7; *ломеня*: 72–10; *ломотная*: 52–7, укр.: 15–5; *ломотный*: 23–7; *ломовая*: 13–9; *ломуха*: 9–3, 37–3; *ломония*: 39–8; *ломиха*: 21–7, 22–8; *ломота*: [10. С. 49]. Пояснения: "аки сильная буря древо ломит, такоже и она ломает кости и спину": 2–7, "ломлю и стрелю у человека кости, главу, руки, ноги, поясницу и спину, грудь и везде, аки древо сырое ломит": 23–7. В этой же парадигме *люмія*: 6–7, 27–7; которая "ломит бо у того человека все кости". Ср. также *вердоломѣя*: 51–7 (от вред-веред?); и *трупноломия*: 10–4, 38–2. *Ломею* можно сопоставить с *ламиями* классических народов – облачными женами (см.: [13. Т. 2. С. 354; Т. 3. С. 585]), но и демоническими душительницами и кровопийцами [24. С. 114], а также с балтийскими лаймами, смоленск. *лаума*. В Мансикка сравнивал ее и *костю* с *gigihite* латинского заклинания от Nescia [1. С. 18]. С *ломеей* сходна *томея*: 17–7; с которой связаны *томилия*: 39–9 и *истома*: 40–7; в пояснениях к последней также присутствует мотив старого дерева. Здесь же *костоломка*: 2–7, 57–8 и *костоломная*: 20–10; они же породили *костю*: 40–8; *костиню*: 39–7; ср. также два белорусских имени: *косцяница*: 28–7 и *kaściawaја*: 73–4. С *томеей* может быть связана *темна*: 59–1.

Значительно поле имен, центром которого служит *невая*: 3–12, 7–12, 12–6, 17–12, 31–12, 56–12; *невѣя*: 2–12, 17–12, 30–7, 41–1, 42–4, 51–2, 60–12, 61–12, 62–12; *невія*: 6–12, 27–12; *невианна*: 37–12; *невіяна*: 9–12; близки к ним *нѣмея*: 1–10; *нелѣя*: 51–1; *навія*: 68–2; *невунія*: 68–7 и *дневная*: украинск.: 15–2, 24–2 – результаты различных переосмыслений темного слова. Она обычно последняя в списках, старейшая и смертельная (ср. *смертная*: 24–12; *смертный*: 23–12; *смертнозримая*: [10. С. 49]; *śmierot-naja*: белорусск.: 73–1), связана с библейской Иродиадой, что явствует из обычных комментариев: "сестра старейшая трясовича и угодница Ирода царя, наболящим человеком страшна; та усекнула главу Иоанна Предтечи и принесла пред царя на блюде": 31–12, "сестра старшая плесовица, усекнула главу Иоанну Предтечу; котораго человека изоимет, тот человек не может жив быть": 7–12. Содержание апокрифа об Иродиаде, погубившей Иоанна Крестителя и обреченной на вечные скитания в сонме ведьм и дьяволов [24. С. 314–316]. Ср. в литературной обработке апокрифа об Иродиаде, сделанной А. Ремизовым ("О безумии Иродиадином"), она носится, "навек обращенная в вихорь – буйный вихорь – плясавица проклятая..." [25. С. 34].

Уже А.Н. Афанасьев выводил название из *нава* – 'смерть' или *навье* – 'мертвец' [13. Т. 3. С. 88]. Возможно также истолкование слова через "не веять" или "не ведать"; первое принадлежит О.А. Черепановой, второе принимал В.И. Мансикка, сопоставлявший *невая* с *Nescia* латинских заклинаний, словом, обозначающим "общее неопределенное недомогание", неизвестную болезнь [1, С. 18]; ср. *безыменная*: 41–10. Ср. также русск. диалектн. *невенный* – 'худой', т.е., возможно, *невая* = "худея".

Еще три значительные парадигмы. Первая мотивирована словом "глухой": *глухая*: 1–11, 2–6, 3–6, 11–6, 60–6, 61–6, 62–6; *глухія*: 7–5; *глухая*: 8–6, 31–6; *глушѣя*: 19–5; *оглухица*: 17–6; *глохня*: 72–4; *глыхота*: украинск.: 15–12. Обычное пояснение: "ложусь у человека в голову: и уши заложит, и голову, и тот человек глух бывает": 3–6, "уши затыкает и голову ломит, ежели проминует год, то человек навечно будет глух": 17–6.

Вторая мотивируется через "сухой": *сухота*: 53–11, 56–11, 61–11; *сухая*: 11–7; *сухая*: украинск.: 15–8; *сухой* и *потаенный*: 23–8; *сухотной*: 23–3. Комментарий: "в человеке кости и всего сушу, сам таюсь и креплюсь, и тот человек аки древо засыхает и погибает": 23–8.

Третья парадигма, связанная, возможно, с *гнетей* или *грынушей*, осмыслена через "грудь": *грудца*: 2–5, 7–7; *грудница*: 11–5; *грудя*: 2–5, 72–8; *грудиния*: 39–4. Ср. также *зардея*. Согласно пояснениям, сродни *хрипуше*: "ложится на груди, у сердца, и причиняет хрипоту и харканье": 2–5, "котораго человека поймаю, лежу в грудях и выхожу храпом внутрь": 72–8.

Далее бегло опишем в алфавитном порядке небольшие группы сходных имен (по 4, 3 и 2 фиксации, часто – в близких списках).

Имена, встретившиеся в наших источниках по четыре раза. *Взыщія*: 33–9; *взыдущія*: 34–9; *взыдущая*: 35–9; *изъедущая*: 18–9; формы находятся в одной и той же позиции в очень близких списках, что доказывает их генетическое родство. *Елина*: 18–5, 33–7, 34–6, 35–6; ср. греческое имя демона Ἐλληνοῦς: 44–8 (видимо, от новогреч. Ἐλλην – 'грек'; др.-рус. ЕЛЛИНЪ означало 'грек-язычник', 'язычник' вообще, так называли древних греков в противоположность ромеям-византийцам). *Изгложущая*: 33–10, 35–10; *изложица*: 34–10; *негризущая*: 18–10; несмотря на несходство последнего имени с предыдущими, положение и характер списка вновь доказывает общее происхождение. *Легкая*: 41–3; [12. Т. 2. С. 258]; *легка*: 12–4; *легчае*: украинск.: 15–3. Возможно, эти формы родственны именам типа *ледея*, *гледя*. *Мартуна*: 33–2, 34–7; *мартуша*: 32–6; *имарто*: 18–7; ср. греч. Μαρτάρω: 4–4; о котором уже шла речь, а также, может быть, μαρτύριο[ν] – новогреч. 'мучение, мука, пытка', едва ли новогреч. ἡμάρτων – 'простите! виноват!'; ср. также ἀμάρτημα, ἀμαρτίας, что в славянском переводе Хроники Георгия Амартола толкуется как ГРЪХЪ [26. С. 228]. Переосмысление через "март" по аналогии с *веснянкой*, *осенней* – явно

позднее. *Образующа*: 33–4; *образующе*: 34–3; *образующая*: 35–3; *преображница*: 18–3; имеется много сербских параллелей: *вбратница*: 46 – В; *прѣобразница*: 46 – г; *перво-страшница*: 49–22, 50–2; *второобрезаница*: 71 – в; *обрезаница*: 71 – г; *облизаница*: 70–2; *прѣблизаница*: 70–3; *вѣщица*, *іажа* в человеѣка *вьображається* [8. С. 130]; последний пример заставляет предполагать, что персонажи данного круга мыслились не только вселяющимися в человека, но и оборотнями, принимающими человеческий образ. *Потягота*: 53–3; *потягота*: 57–5; *тяглея*: 36–7; *стяглея*: 36–12; осмыслено через "тянуть". *Похотлюща*: 33–6, 34–5, 35–5; *полобляюща*: 18–6; первое осмыслено через "похоть", второе, возможно, искаженное *полюбляюща*; близость перечней и позиций заставляет сближать эти не очень сходные имена.

Теперь рассмотрим группу имен, которые исследователи [10; 28. С. 192; 27] справедливо считают табуистическими. Принципом номинации здесь является использование терминов родства или других позитивно окрашенных слов в целях умилоствления злого духа или просто неупоминания втуне его подлинного имени: практика, знакомая большинству, если не всем, традиционным культурам. Большая часть этих имен группируется вокруг слова "кума": *кума* [12. Т. 2. С. 258]; *кумоха*: 13–5; *комуха*: 21–2, 22–3; *кумуха*, *комоха* [10. С. 48–49]; *калимуха* или *камуха*: 20–12; *сумоха* [10. С. 49]; *кумошедша* [12. Т. 2. С. 258] (ср. имя *безумная*). В "Словаре русских народных говоров", вып. 13, есть слово *камуха* = 'беспорядок, что-либо непонятное, чушь', вып. 16 – *кума* и *кумоха* в значении 'лихорадка'. Подробный очерк бытования, фонетических и семантических изменений слова "кумоха" в русских говорах см. в [29. С. 126]. По словам Д.К. Зеленина, «лихорадку русские называют "матерью": матуха, матушка, лихорадушка, матка..., теткой: укр. тітка, бел. цяцоха, великорусск. тетушка, сестрица, подруга, кума, кумушка, кумоха, добруха, пеструха (т.е. – няня, гостья)» [27. С. 76]. Зеленин, выделявший пять типов эвфемистических слов, обозначающих болезни, первым из них и наиболее распространенным считал «использование терминов родства, свойства, кумовства... в "ласково-почтительной" или даже "нежной" форме» [30. С. 126]. По этому же принципу названы *тетка* [10. С. 49]; может быть – *китюха*: 13–6 (от тетюха?); *матуха*, *матухна* [12. Т. 2. С. 258], а также *дедюха*, *дедюхна*, *добруха*, *гостья* и *гостьюшка* – [10. С. 48]; ср. в сербском списке добраа: 46-бі.

Необходимо упомянуть еще группу весьма архаических имен, более характерных для южнославянских текстов, но представленных и в некоторых русских (собственно, в четырех близких списках одного перечня): *вѣщица*: 34–2; *вещица*: 33–3, 35–2; *вящица*: 18–1; этимологически слово связано с "вещий" и широко известно в славянской демонологии. См. для сравнения перечни 5, 45–50, 70, 71 южнославянского происхождения – имя представлено в них обычно на первой позиции. Не менее архаично и часто встречающееся в старинных рукописях имя *бѣщица*: 18–1, 33–1, 34–1.

Имеется и несколько групп имен, зафиксированных трижды. К ним относятся: *внутренняя*: 20–3; *нутряная*: 64–3; *unutretnaja* – белорусск.: 73–2, снабжена пояснением "kala serca nudzić". *Водяная*: 20–5; *водянка*: 65–1; *водяна*: украинск.: 67 – без номера. Три имени объясняются через "зло": *злыднѣя*: 42–7; *злокоманка* (ср. *лихоманка*) и *злыдарка* [10. С. 48] (ср. "злыдарь" в значении 'колдун, знахарь' – [12. Т. 1. С. 686]. *Кашлея*: 16–7, 36–1; также *кашея*: 16–1 (ср. "кашлять" и "кащей"), а также *кулея*: 58–2; *кузлея*: 58–8; которая в тексте аналогична *пухлее*; *комлея*: 58–6; *кисленя*: 32–10 и *кисленя*: 63–10. Еще тройца имен: *ликьяни*: 33–12; *ликія*: 34–12; *налукія*: 18–12; ср. *лилія*: 42–1, 68–1; *лилѣя*. С ними немного сходны *дофелея*: 32–4; *дофелія*: 63–4; *дофея*: 63–4; ср. *рофея*: 69–1. И последняя фонетически сходная тройка: *тѣнная*: 54–7; *тынна*: украинск.: 25–7; *тайная*: 24–8 (все три осмыслены через разные апеллативы).

Интересна группа имен, осмысленных через оппозицию "горячее-холодное": *хо-*

лодия: 39–11; студеная: 20–6, 64–5; студена: 51–1 (ср. ледя) и горячая: 39–10; горя: 58–9; ср. огня, ражого, горля: 16–8.

Теперь приведем встретившиеся пары сходных имен из близких и разнородных списков. *Безумная*: 24–3 и *безумный*: 23–4. *Вефоя*, *февоя*: 32–1, 63–1 (О.А. Черепанова [10. С. 53] сравнивает их с греч. Θευ – восклицание при выражении боли: ох, ах, увы). *Ветрея* и *вёртея*: 16–10, 58–12; ср. в 4 вып. "Словаря русских народных говоров" *ветреница* = 'ветренная оспа' или 'кожная сыпь'. *Гормица* и *горница*: 16–12, 58–11. Дважды повторена пара *дида* и *ладо*: 54–8, 9; украинск.: 25–8, 9; известная по припевам обрядовых песен; не касаясь спорного происхождения этих имен, скажем только, что достаточно рано они были осмыслены как названия языческих демонов, чем и вызвано, возможно, появление в заговоре. *Дрехлѣя*: 55–10; и *дряхлѣя*: украинск.: 26–10. *Дремлѣя*: 55–11 и украинск.: 26–11. *Животиния* и *животная*: 20–9, 39–5. *Ивуя*: 32–2, 63–2. *Каса* и *киза*: 16–3, 58–3. *Мѣсора* – *месора*: 54–4 и украинск.: 25–4; ср. *мѣсечница*: 71–1; *месечница*: 70–10, 50–9; *мечна*: 49–9; все из южнославянских списков. *Надуманная-подумана*: 65–4 и украинск.: 67 – без номера. *Овена-свена*: 16–2, 58–2. *Омуга*: 54–10 и украинск.: 25–10. *Орыхта*: 16–4; *орыста* (*ориста*): 58–5; И.Д. Мансветов [2] выводил это имя из греч. ὄριξω 'определяю' или ρίξικον 'судьба' и сравнивал со славянскими оризницами – девами-решительницами судьбы. *Пералеля-паралѣя*: 55–4, украинск.: 26–4. *Переанда-персанда*: 54–2, украинск.: 25–2. *Переходная-приходная*: 24–4, 65–7. *Разслабѣя-разслабленный*: 23–10, 24–6. *Руньша-руниша*: 32–3, 63–3. Учиѣвая южнославянское происхождение трясовичных текстов, последние формы можно сопоставить с одной южнославянской изоглоссой: словенскими диалектными *gupje* (ср. р., мн. ч.) – 'оспа' и *gūnja* (ж.р.) – 'сыпь на лице', которые, в свою очередь, сравнивают с с.-хорв. *gūniti*, *gūnīm* 'бить, разбивать', 'дергать, рвать', *gūniti(se)*, *gūnīm(se)* – то же, и словенск. *gūniti*, *gūnem* (сов. вид) – 'двинуть, толкнуть' [30. С. 144]. *Секудія*: 6–8, 27–8; пояснение "секу жилы в одно место". *Серпужа-серпугла*: 9–11, 37–11, 38–11, также *серпугля*: 10–11 (вероятно, осмыслено через "серп"). *Утѣха-утиха*: 54–11, украинск.: 25–11. *Хампоя-хампея*: 32–9, 63–9; ср. приводимые в "Славянском именослове" М. Морошкина [31. С. 199] имена из средневековых богемских и моравских реестров: *Хампонос*, *Champonosius*, *Camponosius*, *Camponoys*, *Scamponoys*, а также *хамея*: 1–9, *холмея*: 56–7; *харлея*: 36–9. О.А. Черепанова выводит *хампою-хампею-хамею* из греч. χαμοσρακαίνα – 'змея, дракон, ползающий по земле' [11. С. 94]. *Чадлея*: 32–7, 63–7; может быть от "чадо", ср. *чедомориа*: 46–1. *Чемія*: 6–10, 27–10; комментарий "я ножные жилы свожу", ср. *цемить*. *Черькѣтъ-черькетъ*: 55–7, украинск.: 26–7. *Шашая*: 54–5, украинск.: 25–5; возможно, от **шатая*, ср. пояснение к *пухлее*: 3–8 "шатаю род человеческий". *Ярустошо-гарустошо*: 6–3, 27–3; очевидно, звательная форма, этимология неясна.

В заключение приведем те однажды встреченные имена, для которых мы можем предложить какие-нибудь сопоставления. *Долмота*: 59–6; в выпуске 8 "Словаря русских народных говоров" есть: *долмат* = 'глупец, дурень', *долматить* = 'говорить беспрестанно одно и то же, трещать, болтать' и *долмота* = 'пустые, надоедливые разговоры и человек, ими занимающийся'. *Искрянна*: 12–5; по О.А. Черепановой, вероятно, "довольно редкое образование от слав. *искръ-*, которое среди прочих имело значение 'внутри'... Следовательно, лихорадка *искрянная* – 'внутренняя' (ср. *нутренняя*)" [10. С. 53]. *Клюша*: 59–5. "Словарь русских народных говоров", вып. 13: *клюша* – 'посох, клюка', 'кочерга', 'дерево с изогнутым корнем', 'палка с крючком для полоскания белья'; вероятно, имелась в виду сгорбленность, изогнутость старухи-лихорадки. *Простовласна*: 12–11. Имеется в виду простоволосость изображаемых на лубочных картинках лихорадок. *Скорпия*: украинск.: 15–7; обычно это имя принадлежало змеиным царицам в заговорах от укусов их подданных. Ср. в связи с этим имена *змиа*: 45 – г и *скорбная*: 24–5. *Усовная*: 65–12; *Усови* в народной медицинской

терминологии – колотье (в том числе в ушах), в сербских заговорах встречается злое мифологическое существо *усов*.

Подробный словообразовательный анализ имен лихорадок произведен О.А. Черепановой [10. С. 54–56]. Дальнейшее его развитие заняло бы слишком много места, потому выскажем только некоторые дополнительные наблюдения. В пределах перечней имен явственна тенденция к словообразовательной унификации всех – даже разнородных – имен перечня, что, помимо прочего, служило дополнительным ритмообразующим фактором при произнесении заговора. В пределах же рассмотренных полей-парадигм можно наблюдать постепенную замену при сохранении корневой морфемы формантов, характерных для субстантивированных прилагательных и причастий, сперва формантами существительных (*-ка, -ица, -ота, -иха*), а затем и формантами, имитирующими финали распространенных антропонимов (*-ия, -ея, -анна*, даже *-ыня*), что знаменует вехи, этапы закрепления результатов процесса субстантивизации и онимизации адъективных и глагольных форм. Кстати, те же форманты (*-ея, -ия, -ая, -оха, -аха, -яха*) характерны для имен змей в заговорах от их укусов [32], отчасти для имен звезд в заговорах на любовь или от плача младенца [33], что включает лихорадок-трясовиц в некоторое более общее поле заговорных мифологических персонажей.

Номера перечней имен лихорадок и их источники

1. – [34. С. 114–117]. 2. – [13. Т. 3. С. 86–88]. 3. – [35. С. 425–431]. 4. – [36. С. 91]. 5. – [3. С. 50]. 6. – [37. С. 6–8]. 7. – [38. С. 491]. 8. – [39. С. 164]. 9. – [39. С. 175]. 10. – р [39. С. 174]. 11. – [40. С. 93]. 12. – [40. С. 95]. 13. – [12. Т. 2. С. 258]. 14. – [41. С. 167]. 15. – [42. С. 11]. 16. – [43. С. 205]. 17. [43. С. 206]. 18. [43. С. 206]. 19. – [43. С. 209]. 20. – [44. С. 269]. 21. – [44. С. 331]. 22. – [44. С. 332]. 23. – [44. С. 346]. 24. – [44. С. 355–360]. 25. – [45. С. 739]. 26. – [45. С. 739]. 27. – [46. С. 40–41]. 28. – [47. С. 76]. 29. – [48. С. 278]. 30. – [48. С. 278]. 31. – [49. С. 461–464]. 32. – [49. С. 464–465]. 33. – [50. С. 223–224]. 34. – [50. С. 223–224]. 35. – [50. С. 223–224]. 36. – [51. С. 138]. 37. – [52. С. 239]. 38. – [52. С. 239]. 39. – [52. С. 238]. 40. – [53. С. 202]. 41. – [54. С. 89]. 42. – [54. С. 89]. 43. – [6. С. 344]. 44. – [6. С. 344]. 45. – [6. С. 345]. 46. – [6. С. 345]. 47. – [7. С. 25]. 48. – [7. С. 25]. 49. – [7. С. 29]. 50. – [7. С. 29]. 51. – [7. С. 31]. 52. – [7. С. 33–34]. 53. – [7. С. 34]. 54. – [55. С. 79–80]. 55. – [55. С. 79–80]. 56. – [56. С. 351–352]. 57. – [56. С. 353]. 58. – [57. С. 75]. 59. – [57. С. 81]. 60. – [10. С. 50–52]. 61. – [10. С. 50–52]. 62. – [10. С. 50–52]. 63. – [10. С. 50–52]. 64. – [10. С. 50–52]. 65. – [10. С. 50–52]. 66. – [10. С. 50–52]. 67. – [58. С. 119]. 68. – [59. С. 164]. 69. – [59. С. 167]. 70. – [60. С. 155]. 71. – [61. С. 283]. 72. – [62. С. XXXVI]. 73. – [63. С. 167].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мансика В.Н. Представители злого начала в русских заговорах // Живая старина. 1909. Вып. 4. С. 3–30.
2. Мансветов И.Д. Византийский материал для сказания о двенадцати трясавицах // Древности. Труды Имп. Московского Археологического общества. М., 1881. Т. 9. Вып. 1. С. 24–36.
3. Веселовский А.Н. Разыскания в области русского духовного стиха. VI–X // Сборник Отделения русского языка и словесности АН. СПб., 1883. Т. 32. № 4. С. 1–461.
4. Веселовский А.Н. Заметки по литературе и народной словесности // Сборник Отделения русского языка и словесности АН. СПб., 1883. Т. 32. № 7. С. 1–95.
5. Соколов М.И. Материалы и заметки по старинной славянской литературе. М., 1888. Вып. 1.
6. Соколов М.И. Апокрифический материал для объяснения амулетов, называемых змеёвиками // Журнал Министерства народного просвещения. 1889. Т. 213. Отд. 2. С. 339–368.

7. Соколов М.И. Новый материал для объяснения амулетов, называемых змеевиками. М., 1894.
8. Ляцкий Е.А. К вопросу о заговорах от трясавиц // Этнографическое обозрение. 1893. № 4. С. 121–136.9.
9. Миллер В.Ф. Ассирийские заклинания и русские народные заговоры // Русская мысль. 1896. № 7. С. 66–89.
10. Черепанова О.А. Типология и генезис названий лихорадок-трясавиц в русских народных заговорах и заклинаниях // Язык жанров русского фольклора. Петрозаводск, 1977. С. 44–57.
11. Черепанова О.А. Мифологическая лексика Русского Севера. Л., 1983.
12. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. М., 1989–1991.
13. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. В 3-х т. М., 1994 (репринт издания 1869 г.).
14. Беньковский И. Осина в верованиях и в понятии народа на Волыни // Киевская старина. 1898. Т. 62. Отд. 2. С. 6–9.
15. Онищук А. Матеріали до гуцульської демонології // Матеріали до української етнології. Львів, 1909. Т. 11. Ч. 2. С. 1–139.
16. Топоров В.Н. К реконструкции древнейшего состояния праславянского // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. София, сентябрь 1988 г. М., 1988. С. 264–292.
17. Вольтер Э.А. Материалы для этнографии латышского племени Витебской губернии. СПб., 1890. Ч. 1. Праздники и семейные песни латышей.
18. Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н. О древнеиндийской Ушас (Uṣas) и ее балтийском соответствии (Ūsiņš) // Индия в древности. М., 1964. С. 66–84.
19. Словарь русских народных говоров. Л., 1965 – Вып. 1. –
20. Ляцкий Е.А. Болезнь и смерть по представлениям белорусов // Этнографическое обозрение. 1892. № 2–3. С. 23–41.
21. Δημητρακου Δ. Μετα λεεικου της Ελληνικης γλωσσης. Αθηνα, 1933.
22. Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 9.
23. Шестаков С. Смерть и демоны смерти в представлениях древних и новых греков // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Казань, 1923. Т. 32. Вып. 2. С. 97–114.
24. Веселовский А.Н. Разыскания в области русского духовного стиха. XI–XVII // Сборник Отделения русского языка и словесности АН. СПб., 1889. Т. 46. № 6. С. 1–376.
25. Ремизов А.М. Лимонарь сиречь Луг духовный: Отреченные повести // Ремизов А.М. Сочинения. СПб., б.г. Т. 7. С. 13–164.
26. Истрин В.М. Книги временных и образных Георгия мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славянском переводе. В 3-х т. Л., 1930. Т. 3. Греческо-славянский и славянско-греческий словари.
27. Зеленин Д.К. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. Ч. 2. Запреты в домашней жизни // Сборник Музея антропологии и этнографии. Л., 1930. Т. 9. С. 1–166.
28. Токарев С.А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX – начала XX в. М.; Л., 1957.
29. Чистов К.В. Кумоха (этюд) // Русский Север. Проблемы этнокультурной истории, этнографии, фольклористики. Л., 1986. С. 125–134.
30. Куркина Л.В. Изоглосные связи южнославянской лексики (Материалы к проблемам славянского этногенеза) // Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. Методология и историография. М., 1976. С. 129–155.
31. Морошкин М. Славянский именовослов. СПб., 1867.
32. Юдин А.В. Об именах змей в восточнославянских заговорах // Літературна ономастика української та російської мов: взаємодія, взаємозв'язки. Київ, 1992. С. 60–67.
33. Юдин А.В. Об именах звезд-"помощниц" в русских заговорах // Язык русского фольклора. Петрозаводск, 1992. С. 66–71.
34. А.С./околол/ Духовные стихи и заговоры из рукописного сборника XVIII в. // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Казань, 1892. Т. 10. Вып. 1. С. 114–117.

35. Балов А. Молитвы, заговоры и заклинания, записанные в Пошехонском уезде Ярославской губернии // Живая старина. 1893. Вып. 3. Отд. 5. С. 425–431.
36. Веселовский А.Н. Разыскания в области русского духовного стиха. III–V // Сборник Отделения русского языка и словесности АН. СПб., 1881. Т. 28. № 2. С. 1–150.
37. Виноградов Н. Заговоры, обереги, спасительные молитвы и проч. (По старинным рукописям и современным записям.) СПб., 1909. Вып. 2.
38. Вохин Н.Н. Народные заговоры против болезней начала XVIII века // Русская старина. 1878. Т. 22. С. 490–492.
39. Герасимов М.К. Материалы по народной медицине и акушерству в Череповецком уезде Новгородской губернии // Живая старина. 1898. Вып. 2. С. 158–183.
40. Громыко М.М. Дохристианские верования в быту сибирских крестьян XVIII–XIX веков // Из истории семьи и быта сибирского крестьянства в XVII – начале XX в. Новосибирск, 1975. С. 71–109.
41. Добровольский В.Н. (сост.). Смоленский этнографический сборник. СПб., 1891. Ч. 1.
42. Ефименко П.С. (сост.) Сборник малороссийских заклинаний // Чтения в Обществе истории и древностей при Московском университете. М., 1874. Кн. 1. Ч. 2. Материалы отечественные.
43. Ефименко П.С. (сост.) Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии. Ч. 2. Народная словесность // Труды этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете. М., 1878. Т. 30. Кн. 5. Вып. 2.
44. Забылин М. (сост.) Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. Репринтное воспроизведение издания 1880 г. М., 1990.
45. Иванов И. Знахарство, шептанье и заговоры – В Старобельском и Купянском уездах Харьковской губернии // Киевская старина. 1885. Т. 13. С. 730–744.
46. История русской литературы / Под ред. Е.В. Аничкова. М., 1908. Т. 1. Народная словесность.
47. Карский Е.Ф. Белорусы. Очерки словесности белорусского племени. 1. Народная поэзия. М., 1916. Т. 3.
48. Короленко П.П. Черноморские заговоры // Сборник Харьковского историко-филологического общества. 1892. № 4. С. 274–282.
49. Майков Л.Н. (сост.) Великорусские заклинания // Записки императорского Русского географического общества по отделению этнографии. СПб., 1869. Т. 2. С. 417–580.
50. Новомбергский Н.Я. Материалы по истории медицины в России. Томск, 1907. Т. 4.
51. Островская Л.В. Мировоззренческие аспекты народной медицины русского крестьянского населения Сибири второй половины XIX века // Из истории семьи и быта сибирского крестьянства в XVIII – начале XX в. Новосибирск, 1975. С. 131–142.
52. Попов Г. Русская народно-бытовая медицина. М., 1991. (Репринтное воспроизведение издания 1903 г.).
53. Русские заговоры / Сост., предисл. и примеч. Н.И. Савушкиной. М., 1993.
54. Селиванов А.И. Этнографические очерки Воронежской губернии // Воронежский юбилейный сборник. Воронеж, 1886. Т. 2. С. 69–115.
55. Тихонравов Н. (сост.) Летописи русской литературы и древности. М., 1863. Т. 4.
56. Тихонравов Н. (сост.) Памятники отреченной русской литературы. М., 1863. Т. 2.
57. Черепанова О.А. Роль имени собственного в мифологической лексике // Язык жанров русского фольклора. Петрозаводск, 1983. С. 74–84.
58. Чубинский П.П. (ред.) Труды этнографическо-статистической экспедиции в западно-русский край. Юго-западный отдел. Материалы и исследования. СПб., 1872. Т. 1.
59. Щуров И. Знахарство на Руси // Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1867. Кн. 4. Смесь. С. 143–174.
60. Kačanovskij V. Apokrifne molitve, gatanja i priče // Starina. Zagreb, 1881. Кн. XIII. С. 150–163.
61. Kovačević L. Nekoliko priloga staroj srpskoj kniževnosti // Starine. Zagreb, 1878. Кн. X. С. 274–293.
62. Домашний Обиход. Рукописный сборник XVII века // Пермский сборник. М., 1860. Кн. 2. Приложение. С. XXXI–XXXVIII.
63. Werenko F. Przycznek do lecznictwa ludowego // Materiały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, wydawane staraniem komisji antropologicznej Akademii umiejętności w Krakowie. Kraków, 1896. Т. 1. С. 99–228.



© 1998 г. СЕРЕБРЯНАЯ И.Б.

К ИСТОРИИ СЛОВА *ЧЕРТ* В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

История слова *черт* ставит перед нами немало вопросов, требующих своего разрешения. Отсутствует установившаяся точка зрения на происхождение этого слова, хотя этимологий выдвигалось немало. Не решен вопрос о ранней его фиксации в памятниках русской письменности. До сих пор не получила объяснения разносклоняемость существительного *черт*, проявляющаяся в противоположенности "твердой" парадигмы единственного числа и "мягкой" множественной парадигмы: *черт, черта, черту...*, но – *черти, чертей, чертям* и т.п.

В современном русском языке слово *черт* – "в старинных суеверных представлениях: злой дух, сверхъестественное существо, олицетворяющее злое начало (в образе человека с рогами, копытами, хвостом); теперь употр. как бранное слово, а также в некоторых выражениях" [Ожегов. С. 867], – отличается исключительно широким употреблением, служит для выражения самых разнообразных чувств и эмоций, входя в качестве составной части в многочисленные фразеологические обороты, которые в словарях современного русского литературного языка даются как правило со стилистическими пометами "разговорное", "просторечное", "бранное". Около 30 таких оборотов приведено в "Словаре русского языка" С.И. Ожегова, свыше 60 – в "Словаре современного русского литературного языка" [Т. 17. С. 940–949]: *черт чертом; чем черт не шутит; сам черт не разберет; у черта на куличках; к черту на рога; еще черти не бьются в кулачки; черт ногу сломит* и т.п. Часто слово *черт* употребляется в качестве вводного и в значении междометия, выражая при этом самые разные чувства (негодование, неприязнь, досаду, удивление и т.д.), нередко принимая значение бранного: *Черт! К черту! Черт возьми, поberi, дери, подери! Черт с тобой! Черта с два* и т.п.

Столь же широкое употребление имело слово *черт* и в языке XVIII–XIX вв. В этот период также существовало множество распространенных в живой разговорной речи устойчивых выражений с данным словом. Так, в Толковом словаре В.И. Даля приводится более 100 пословиц и поговорок, включающих слово *черт*: *Черт и век не пьет, а людей искушает. Одолели черти чистое (святое) место. Пусти черта в*

Серебряная Ирина Борисовна – канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры русского языка Казанского государственного педагогического университета.

дом... и т.п. [Даль В.И. Т. 4. С. 597–598]. Большое количество пословиц со словом *черт* мы находим в рукописных сборниках пословиц XVIII в., в "Письмовнике" Н. Курганова: *Поп свое, а черт свое* [ПП. С. 33]. *Не боится черт песта, боится креста* [ПП. С. 57]. *Мы как люди, а они как черти* [ПП. С. 96]. *Ладанъ на чертей, а тюрма на татей* [Курганов. С. 131] *Один чортъ на дьяволъ* [Курганов. С. 135]. *Старова чорта, да подперъ бѣсъ* [Курганов. С. 138] и т.п.

Эта устная традиция получила яркое отражение в языке поэтов и писателей XVII–XIX вв.: *Но черт его несет судить о свете* [Пушкин. Т. III. С. 174]. *Я с чертом жил запанибрата* [Вяземский. С. 220]. *В делах, сударь, ему сам черт не по плечу* [Капнист. С. 41]. *Французам да чертям лишь можно так штукарить* [Княжнин. С. 312]. *Кого черт давит?* [Радищев. С. 22] и т.д.

Встречается, хотя и значительно реже, слово *черт* и в источниках XVII в., причем, все случаи употребления этого слова носят ярко выраженный бранно-просторечный характер: *чертъ тебя научилъ* [Аввакум. С. 585]; *черти ли тебя знают* [МД. С. 85]; *я де к вам ...ю чорта в дом* (1652) [АХБМ. С. 58]; *чертъ тебя пожаловаль, а не государь* (1650) [Слово и Дело. Т. 1. С. 235] и т.д.

Интересна приписка *чортомъ видимымъ*, сделанная старинным (конца XVI – начала XVII в.) читателем на полях "Листа Ипатия Потея к князю Острожскому" (1598) и отнесенная к папе Римскому [ППЛ. С. 1013].

Пословицы и поговорки со словом *черт* отмечаются также в собрании русских пословиц П. Симони (Сборник XVII в. Московского Главного архива Министерства иностранных дел): *Авиرونу чортъ даль оборону сову да вороку* [Симони. С. 77]. Богъ даль путь, а *чортъ* кинулъ крюкъ [Симони. С. 79]. Жерди возять черти хотят ад городить [Симони. С. 104] и т.д.

Включено слово *черт* и в русско-английский словарь-дневник Р. Джемса (1618–1619), где оно стоит в ряду других наименований нечистой силы: *враг, чорт, дьявол, оканьной, бес* [Ларин Б.А. С. 66]. Р. Джемсу принадлежит наиболее ранняя словарная фиксация слова *черт*.

Тем примечательнее тот факт, что в источниках до XVII в. слово *черт* почти не встречается. В древнерусских письменных источниках широкое распространение имеют такие синонимичные данному слову церковные наименования злого духа, как *диавол, сатана, демон, бес*, а также различные эвфемизмы типа *лукавый, нечистый, злой дух* и т.п. К примеру, мы ни разу не встретили слово *черт* в таком изобилующем всевозможными названиями нечистой силы собрании древнерусских текстов, как "Древнерусские слова и поучения, направленные против остатков язычества в народе" Н. Гальковского [1].

Отсутствие слова *черт* в древнерусских памятниках приводит исследователей в области древнерусской демонологии к мысли о том, что данное слово не является исконно русским. В частности, так рассуждает Ф.А. Рязановский в работе "Демонология в древнерусской литературе", утверждая, что *черт* – слово, перешедшее в русский язык из польского приблизительно с XVII в., и мотивируя это утверждение тем, что единственный памятник, где ему попало это слово, – "Великое Зерцало", включающее, например, такую повесть: *яко не подобаеть рабовъ звати: поиди черт или диаволь* [2. С. 44].

С этим мнением нельзя согласиться, во-первых, по той причине, что "Великое Зерцало" – далеко не единственный памятник XVII в., где встречается слово *черт* (см. примеры, приведенные выше). Во-вторых, что очень важно, фиксируются более ранние случаи употребления слова *черт* в значении личного имени собственного, что, очевидно, свидетельствует о существовании в языке соответствующего нарицательного имени. Примеры: *да на Озеретцкоу ямъ Ивашку Черту* (1544) [Архив Строева. С. 268]; *отець мои Микита Чортъ, а после Чорта Микита писарь* (1499) [Лит.

метрика. С. 651]; а на купленья были послуши: Иван Черт, да Тимофей Замыйской (ок. 1468–1472 гг. сп. сер. XVI в.) [АСВР. Т. 1. С. 279]; от микитъ ко цертоу (XIV в.) [Берест. гр. № 4. С. 29].

Немало примеров употребления собственного имени *Черт* приведено в "Ономастиконе" С.Б. Веселовского и в "Словаре древнерусских личных собственных имен" Н.М. Тупикова: *Михаил Глебович Черт Шукаловский ...* (вторая половина XV в.); *Иван Григорьевич Черт Каменский...*, (первая половина XV в.); *Михаил Алексеевич Черт Стромилов...*, (середина XV в.) [Веселовский. С. 352]; *Васко Черт, крестьян. 1495. Писц. П, 554. Ивашко Чертъ, крестьян. 1498. Писц. IV, 12. Игнатъ Чертъ, помещик, холоп. 1500. Писц. Ш, 543 и т.д.* [Тупиков. С. 483].

Заслуживают внимания примеры употребления наименования *черт* в функции бранного в Слове Даниила Заточника (XII–XIII вв., сп. XVI–XVII вв.): *Паки видѣхъ стару жену злообразну, кривозороку, подобна черту, ртасту, челюстасту* [Сл. Дан. Заточника. С. 69] *Не видал есмь мертвеца на свинияхъ ѣздячи, ни черта на бабе* [Сл. Дан. Заточника. С. 70]. Впрочем, учитывая редкую встречаемость слова *черт* в древнерусских текстах, можно предположить, что в этот памятник данное слово было привнесено в XVI–XVII вв. при списывании, особенно если иметь в виду широкое распространение в этот период поверий и пословиц о связи "бабы" с "нечистой силой": *Баба бредит, а чортъ ей верит* [Симони. С. 79]. *Бъси то вѣдятъ что бабы брѣдятъ* [Симони. С. 79] и т.п.

Таким образом, слово *черт* существует в русском языке издавна, о чем, между прочим, свидетельствуют и сами формы множественного числа *черти, чертей, чертям* и т.п., сохраняющие в основе гласный /e/ в противовес формам единственного числа, где перед сочетанием твердых согласных /e/ перешло в /o/: *чорт, чорта, чорту* и т.п., т.е. закрепление "мягкой" основы в формах косвенных падежей множественного числа произошло до завершения перехода /e > o/ как фонетической закономерности (иначе было бы **чорти*) [З. С. 205–206].

Слово *черт* встречается в большинстве славянских языков: укр., блр. *чорт*, польск. *czart* ("черт, бес, злой дух"), чешск., слвцк. *čert* ("черт, злой дух, неприятность"), словенск. *čft* ("черт, ненависть, вражда", "раскорчеванное место, межа между двумя пашнями в горах"), в.-луж. *čert* ("черт"), н.-луж. *cart* ("черт, бес") [Фасмер М. Т. 4. С. 347; ЭССЯ. 4. С. 164]. В "Этимологическом словаре славянских языков" славянское **čьrtь* толкуется как инновация праславянского времени, охватившая западно- и восточнославянские языки, но не охватившая южно-славянские [ЭССЯ. 4. С. 164–166].

Этимология слова *черт* до сих пор не установлена, хотя предположений выдвигалось немало. В первом русском этимологическом словаре Ф.С. Шимкевича "Корнеслов русского языка" слово *черт* сравнивается с корнем *чара* (или *чар*), который первоначально обозначает черту, а потом колдовство [Шимкевич. С. 119]. В "Материалах для корневого и объяснительного словаря русского языка и всех славянских наречий" С. Микуцкого слово *черт* возводится к санскритскому корню *kar* "гореть, светить, печь, жарить, морозить": *черт* – "обоженный, черный" [Микуцкий. С. 3]. Чешский этнограф К. Эрбен возводил слово *черт* к древнеславянскому имени *krt*, откуда мифологический образ *krodo* у саксонских славян, откуда также названия домашних духов у чехов – *krět, skrět*, у поляков – *skrat*, у латышей – *krat* [4. С. 108]. М. Фасмер [Фасмер М. Т. 4. С. 347] ссылается на этимологии И. Микколы, Е. Бернекера, В. Поржезинского, которые рассматривают праславянское **čьrtь* как причастие на -to "проклятый", родственное литовскому *kyrėti* "злиться", *j-kūr̃ti* "гнушаться" и т.п. Здесь же приводится иное сопоставление Е. Бернекера, возводящегося **čьrtь* к латинскому *curtus* "короткий, обрубленный", что не кажется М. Фасмеру вероятным. Отвергает М. Фасмер и этимологию Д.К. Зеленина, сближающего это слово с "терять", т.е. *черт* первоначально – "потерянный, заблудший".

Заслуживает внимания этимология, выдвинутая Р. Якобсоном, который связывает происхождение русского *черт* со словами *черта*, *чертить*, древнерусским *черести* "резать". При этом он ссылается на чешское *čara* "черта", обозначающее границу дозволенного и магически запретного. Таким образом, у Р. Якобсона связь *черт* с *черта*, *чертить* основана на идее магической запретной черты [5. С. 276].

С **čьrta*, **čersti*, **čьrta* связывается происхождение праславянского **čьrty* и в "Этимологическом словаре славянских языков". Однако здесь подчеркивается, что магическое значение данного слова было производным, а не изначальным. Из группы семантически однородных соответствий (русское *черт*, польское *czart* "черт, бес, злой дух", чешский *čert* "черт, злой дух" и т.п.) составители словаря выделяют словенское *črt*, выступающее в двух значениях: 1) 'ненависть', 'вражда', 2) 'раскорчеванное место, межа между двумя пашнями в горах'. Это второе значение словенского *črt*, прямо указывающее на родственную связь с **čersti*, *čьrta*, дает возможность составителям словаря реконструировать первоначальное значение **čьrty* как "тот, кто роет", что, как утверждается в словаре, "вполне подходило бы как обозначение для земляного, подземного духа" [ЭССЯ. 4. С. 164–166]. Следует, однако, отметить, что это ненадежное основание, так как *черт* – это не только подземный, но и лесной, водяной, болотный дух [6. С. 47].

Вместе с тем, указание на родство *черт* с *черта*, *чертить* оказывается как нам кажется, весьма важным при установлении этимологии слова *черт*. На эту связь указывает не только словенское *črt* "ненависть, вражда", с одной стороны, и "раскорчеванное место, межа" – с другой, но и словенское *črtiti* "ненавидеть" [Фасмер М. Т. 4. С. 347], "корчевать, царапать" [ЭССЯ. Т. 4. С. 163] и сербохорватское *сrtiti* "заклинать, клясть, божиться" [Фасмер М. Т. 4. С. 347].

На родство *черт* с *черта*, *чертить* указывают также старинные русские обряды черчения кругов с целью предохранения от нечистой силы. Например, в "Материалах" И.И. Срезневского: *стыи зачертъ емоу(бѣсу) и оустави никакож минути черты* [Срезневский. Т. III. С. 1568]. О возможности наличия изначального магического оттенка у глагола *чертить* свидетельствуют пословицы и идиоматические выражения типа "*Черти круг да чурайся, кричи: чур меня*" [Даль. Т. 4. С. 615], "*очертя голову*" и т.п. Л.П. Якубинский пишет, что русское выражение *очертя голову* происходит от слова *черта* со значением "магического знака оберега", предохраняющего от гибели; *очертя* – это деепричастие от глагола *очертить*, т.е. положить на себя черту, магический знак, обеспечивающий удачу [7. С. 73].

Сближение слова *черт* с глаголом *чертить* определяет словообразовательную характеристику данного имени. Можно предположить, что в генетическом отношении оно представляет собой приглагольное суффиксально-нулевое образование, как и существительное *черта*, связь которого с *чертить* очевидна. В связи с этим чрезвычайно показателен факт семантического схождения слов *черт* и *черта* в орудийном значении: "*черта* и *черть*, *отчертокъ*, *чертокъ* – плотницкий снаряд для проведения черты, знака или метки, для отчерченья бруса, доски, насколько ея снятъ" [Даль. Т. 4. С. 597]. Это позволяет охарактеризовать образования *черт* и *черта* как суффиксально-нулевые по происхождению имена существительные, соотносенные с одним и тем же производящим глаголом, т.е. в генетическом отношении данные имена представляют собой родовую синонимическую параллель. Развитие данной родовой параллели шло, вероятно, от типового отвлеченного значения действия через значение *nomen instrumenti* к агентивному магическому значению у наименования мужского рода *черт* (личное имя пассивного значения, объект очерчивания). Наименование женского рода *черта* приобрело свой комплекс значений: "узкая полоса, линия, граница" и т.п. Таким образом, в языке сохранились оба компонента былой родовой параллели, но они совершенно не осознаются как родовые синонимы, поскольку их

смысловое расхождение очень велико, а единственная точка семантического соприкосновения – орудийное значение, – в современном русском языке отсутствует.

Итак, слово *черт* существует в русском языке издавна. Причина же редкой употребительности этого слова в памятниках древнерусской письменности, вероятно, заключается в табуированности данного демонологического наименования, связанного с языческими дохристианскими верованиями, с боязнью "накликать" злого духа, со словесным запретом. Многочисленные указания на существование этого запрета мы находим в работах по русской народной мифологии. Так, например, у А.С. Токарева читаем о слове *черт*: "его боятся и избегают произносить, веря, что этим можно вызвать черта из преисподней" [4. С. 107]. Недаром слово *черт* совершенно отсутствует в Священном Писании. Архимандрит Макарий в своем сочинении "Православно-догматическое богословие", перечисляя наименования злых духов, называет их "демонами", "духами нечистыми", "духами злобы", а главу их – "диаволом", "сатаную", "Вельзевулом", "искусителем" и т.п., но не упоминает запретного слова *черт* [8. С. 70].

Понятно, что древнерусские тексты, в большинстве своем церковно-богословские по содержанию, избегали употреблять это опасное слово, используя его многочисленные синонимические заменители, из которых чаще всего встречаются свангелизмы *диавол*, *сатана*, *демон*, *бес*.

То обстоятельство, что запретное слово *черт*, обозначающее злого духа, появляется в текстах XVII в., связано, очевидно, с влиянием Запада, с активно протекающим в этот период процессом обмирщения литературы. Ф.И. Буслаев характеризует XVII в. как период, когда "одностороннее влияние византийских источников было осложнено более свободным, легким, поэтическим чтением, переходившим с Запада на Русь в повестях Зерцала Великого, Звезды Пресветлой и других занимательных сборников". И далее: "Русской фантазии был дан большой простор, и она с меньшею боязнью стала входить в подробности злых козней лукавого беса" [9. С. 9–10].

Следует, впрочем, отметить, что, по-видимому, и в XVII в. запрет на слово *черт* был еще достаточно силен. Так, в одном из памятников московской деловой письменности XVII в. "Слове и Деле государевых" мы находим несколько "пыточных речей", содержание которых свидетельствует о том, что употребление слова *черт*, особенно в сочетании со словом *государь*, жестоко каралось: *И тотъ де мужикъ говорилъ: ты де служишь чорту, а не государю* (1637) [Слово и Дело. С. 480]. *А того де слова онъ, Аничка, не говариваль, что онъ, Сенька, служить чорту, а не государю; тѣмъ де его поклепаль* [Слово и Дело. С. 480] и т.п.

То обстоятельство, что в современном русском языке слово *черт* имеет высокую частотность употребления, служит для выражения самых разнообразных мыслей и чувств, связано с ослаблением и исчезновением веры в нечистую силу [6. С. 132]. Принадлежность слова *черт* к демонологической лексике, табуированность, обусловившая отсутствие данного слова в древнерусских текстах, существенно затрудняют исследование грамматической истории существительного *черт*, объяснение его разносклоняемости. Система падежных форм данного имени формировалась в устной речи и была принята литературным языком в уже сложившемся виде. Впервые фиксируемые в источниках XVII в. формы множественного числа существительного *черт* – это почти исключительно формы с мягким конечным согласным основы: *боися смерти не утощили бы черти* [Симони. С. 82]; *а старые-то черти всѣ надоша в пустыни* [Аввакум. С. 267]; *ладанъ на чертей, а тюгма на татей* [Симони. С. 184]; *повиди къ чертямъ* [Аввакум. С. 627] и т.д.

И все же в памятниках XVII в. встречаются единичные примеры употребления форм множественного числа от существительного *черт* с "твердой" основой, являющиеся, по-видимому, отголосками колебания "мягкоосновных" и "твёрдоосновных" форм в устной речи. Так, в "Слове и Деле государевых" под 1639 годом трижды употреблена форма родительного падежа множественного числа *чертовъ*: *и, браняся,*

де Петръ сотнику Михаилу говорилъ: "приѣхаль де ты изъ чертовъ". И сотникъ де Михайло сказалъ: "я де присланъ отъ государя, а не изъ чертовъ". И кречетникъ Петръ Савеловъ въ другой Михаилу сказалъ: "что де ты приѣхаль изъ Володимера, изо всѣхъ чертовъ" [Слово и Дело.-С. 344]. Интересно, что подьячий передает эти слова обвиняемого так: *кречетникъ Петръ Савеловъ... говорилъ ли Михаилу, что онъ присланъ ото всѣхъ дьяволовъ?* [Слово и Дело. С. 344]. Вероятно, подьячий опасался передать слова Петра Савелова буквально.

В языке XVIII–XIX вв., а также в современном русском литературном языке, единственно возможны формы множественного числа от существительного *черт* с мягким конечным согласным основы, хотя в говорах, как отмечает С.П. Обнорский, наряду с формами типа *черти-чертей* встречаются формы с "твердой" основой: "*черты*. Мещов. (Ч. 19), колебание *черти* и *черты* Судж. (последняя форма в редком употреблении. Резан. 246 (Дон.) пр. 42)" [10. С. 102]. Форму родительного множественного чертовъ находим и в "Словаре областного Олонецкого наречия", составленном Г. Куликовским: *гди у цетровъ камни ты вси.* (С. 132).

Формы *черти-чертей* сами по себе не составляют исключения. В одном ряду с ними стоят широко распространенные в древнерусских текстах образования со значением лица типа *беси* (и *бесей, бесям*), *ангели, гади, раби, тиуни* и т.п., которые, однако, в современном русском языке не обнаруживают морфологической противопоставленности числовых парадигм. Существительное же *черт*, а также, как известно, наряду с ним существительное *сосед* по-прежнему сохраняет "мягкую" основу в формах множественного числа, не подчиняясь общим закономерностям.

При объяснении причин разносклоняемости существительного *черт* в научной литературе известна гипотеза А.С. Соболевского и С.П. Обнорского о былой исконной принадлежности существительного *черт* к именам с древней основой на *-ь [10. С. 104; 11. С. 198]. Доказывая свою точку зрения, А.И. Соболевский и С.П. Обнорский ссылаются на данные родственных славянских языков, в которых формы множественного числа существительного *черт* соответствуют былым основам на *-ь: белорусское *черти* (при *черты*), старочешское *črtě přispěchu*, польское диалектное *čerći* [11. С. 198]. Кроме того, С.П. Обнорский указывает на "закономерность ударения на основе в *чёрти*, как форме именительного мн. (ср. *гѣсти*), перенос его на флексию в *черты́*, как форме винительного мн. по нормам основ на *-ѣ (ср. *возы́*) и под. [10. С. 104]. К этим фактам можно прибавить вышеупомянутую форму именительного падежа множественного числа в нижнелужицком языке, где в других случаях в этой форме последовательно употребляется флексия -у [12. С. 76; 13. С. 45].

О возможной связи существительного *черт* с основами на *-ь может свидетельствовать и указанная выше генетическая характеристика данного имени как отглагольного суффиксально-нулевого образования. Имена подобного типа могли включаться как в "мужскую", так и в "женскую" парадигму, могли относиться как к именам с основой на *-ѣ, так и к именам с основами на *-а и *-ь. Среди приглагольных имен нулевой суффиксации были распространены родовые синонимические параллели типа *занавес-занавеса-занавесь* [14. С. 3 и ниже]. Подобную родовую параллель, как кажется, можно усмотреть и здесь: образования *черт* и *черта*, соотнесенные с одним и тем же производящим глаголом, в генетическом отношении представляют собой родовую параллель, сохранившуюся в языке, благодаря семантическому размежеванию между ее членами. Вполне вероятно, что существовал третий компонент этой параллели – образование с основой на *-ь *черть*, повлиявший на закрепление "мягкой" основы во множественном числе данного существительного.

С другой стороны, возникновение морфологической противопоставленности числовых парадигм существительного *черт* связано, как нам думается, и с определенными семантическими различиями между формами единственного и множественного числа данного имени. Исследователи русской мифологии указывают на чрезвычайную

сложность и противоречивость образа черта, на наличие в народных представлениях о нем таких многообразных тенденций, что в результате образовался клубок, не поддающийся расчленению и распутыванию. С одной стороны, слово *черт*, связанное с языческими дохристианскими верованиями, могло обозначать разнообразных духов природы (водяных, леших, русалок и т.п.), что отражено во многих пословицах: *Дошел чорт броду кинулся в воду* [Симони. С. 79]. *Бродит што чортъ по болоту* [Симони. С. 82] и др. Характерно, что некоторые авторы отмечают собирательный характер этого образа, указывая, что "черт" – общее название всей злой силы, которая часто называется нечистью [6. С. 23, 119]. Но, с другой стороны, народные представления о черте окрашены библейскими мотивами, определяются в основном верованиями, связанными с христианским культом, и в этом отношении образ черта сливается с евангельским образом Сатаны-дьявола, властелина ада, противопоставленного Богу. Ср., например, пословицы: *Богъ далъ путь, а чортъ кинул крюкъ – Богъ далъ путь а дьяволь крюкъ* [Симони. С. 76, 83]. В этом значении *черт* – главный представитель зла, не связанный с понятием о множестве. И вместе с тем *черт* – глава целого сонма злых духов более мелкого ранга. Таким образом, *черти* – это не просто "больше, чем один черт", а нечто качественно иное. *Черти* так же подчиненно относятся к *черту*, как беси к дьяволу, сатане.

Быть может, именно эта, некогда актуальная семантическая противопоставленность числовых форм обусловила противопоставленность морфологическую. Следует отметить, однако, что в современном русском языке всякие семантические различия между формами единственного и множественного числа существительного *черт* отсутствуют. Более того, произошла определенная нивелировка, нейтрализация числовых форм данного имени. Т.е. в наши дни можно употребить бранные выражения *к черту* и *ко всем чертям*, имея в виду одно и то же.

С другой стороны, при закреплении форм с мягким конечным согласным основы во множественном числе существительного *черт* роль поддерживающего фактора могло сыграть то обстоятельство, что формы с "твердой" основой типа *черты*, *чертам*, *чертах* и т.п. ассоциировались не только с магическим наименованием *черт*, но и с функционировавшим в истории языка образованием *черть* в значении "орудие для черчения", а также с наименованием женского рода *черта* (линия, граница), т.е. числовая противопоставленность могла быть следствием преодоления омонимии. Во всяком случае, слова *черт* ("сверхъестественное существо, олицетворяющее собой злое начало") и *черта* ("линия") включены в "Словарь омонимов русского языка" Н.П. Колесникова [Колесников Н.П. С. 593].

Сокращения и источники

Аввакум – Сочинения протопопы Аввакума. – Памятники истории старообрядчества XVII в. Л., 1927. Кн. 1. (РИБ; Т. 39).

Архив Строева – Архив П.М. Строева. Пг., 1915. Т. 1. (РИБ; Т. 32).

АСВР – Акты социально-экономической истории северо-восточной Руси конца XIV – начала XVI в. М., 1952–1964. Т. 1–3.

АХБМ – Акты хозяйства боярина Б.И. Морозова (сер. XVII в.). М.; Л. 1940–1945. Ч. 1–2.

Берест гр. – Арциховский А.В., Тихомиров М.Н. Новгородские грамоты на бересте. № 1–10. М., 1953.

Веселовский С.Б. Ономастика. М., 1974.

Вяземский П.А. Стихотворения. Л., 1958.

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1977. Т. 1–4.

Капнист В.В. Избранные сочинения в 2-х т. М.; Л., 1964.

- Княжнин Я.Б.* Избранные произведения. М.; Л., 1965.
- Колесников Н.П.* Словарь омонимов русского языка. Тбилиси, 1976.
- Курганов Н.* Письмовник, содержащий в себе науку российского языка. СПб., 1802. Ч. 1–2.
- Куликовский Г.* Словарь областного Олонецкого наречия. Изд. ОРЯС. СПб., 1898.
- Ларин Б.А.* Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса, 1618–1619. Л., 1959.
- Лит. метрика – Литовская метрика. СПб., 1910. Т. 1. (РИБ; Т. 27).
- МД – *Срезневский В.И.* Сказание о молодце и о девице по сп. XVII в. б-ки Академии наук: (33.4.32). / Изв. ОРЯС, 1906. Т. 11. Кн. 4. С. 79–90.
- Микуцкий Ст.* Материалы для корневого и объяснительного словаря русского языка и всех славянских наречий. Варшава, 1880. Вып. 2.
- Ожегов С.И.* Словарь русского языка. М., 1973.
- ОРЯС – Отделение русского языка и словесности Академии наук.
- ПП – Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII–XIX вв. М.; Л., 1961.
- ППЛ – Памятники полемической литературы в Западной Руси. Пг., 1903. Кн. 3.
- Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений в 16-ти т. М., 1937–1949.
- Радищев А.Н.* Путешествие из Петербурга в Москву. Л., 1974.
- РИБ – Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею. СПб.
- Симони* – Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVIII–XIX столетий. / Собр. и пригот. к печати П. Симони. 1-2. СПб., 1899. (Сб. ОРЯС; Т. 66. № 7).
- Сл. Дан. Заточника – *Зарубин Н.Н.* Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам. Л., 1932.
- Слово и Дело – *Новомбергский Н.* Слово и Дело государевы. М., 1911. Т. 1. (Записки Моск. археол. ин-та; Т. 14).
- Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893–1912. Т. 1–3.
- ССРЛЯ – Словарь современного русского литературного языка в 17-ти т. М., 1948–1965.
- Тупиков Н.М.* Словарь древнерусских личных собственных имен. СПб., 1903 (Зап. отд. рус. и слав. археологии Рус. Археол. общ-ва; Т. 6).
- Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1964–1973. Т. 1–4.
- Шимкевич Ф.* Корнеслов русского языка, сравненного со всеми главнейшими славянскими наречиями... СПб., 1842. Ч. 1–2.
- ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лингвистический фонд. М., 1974–1981. Вып. 1–8.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гальковский Н.* Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси. Т. 2. Записки императорского Московского Археологического ин-та. 1913. Т. 18. С. 1–308.
- Рязановский Ф.А.* Демонология в древнерусской литературе. М., 1915.
- Горикова К.В., Хабургаев Г.А.* Историческая грамматика русского языка. М., 1981.
- Токарев С.А.* Религиозные верования восточно-славянских народов XIX – начала XX в. М.; Л., 1957.
- Jakobson R.* Marginallia to Vasmer's Russian etymological Dictionary (P-Я) / International journal of slavic Linguistics and Poetics, 1959, № 1/2. P. 266–278.
- Померанцева Э.В.* Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975.
- Якубинский Л.П.* История древнерусского языка. М., 1953.
- Макарий.* Православно-догматическое богословие. СПб., 1851. Т. 2.

9. Буслаев Ф.И. Бес. // Мои досуги. М., 1886. Ч. 2. С. 1–23.
10. Обнорский С.П. Именное склонение в современном русском языке. Вып. 2. Множественное число. Л., 1931.
11. Соболевский А.И. Лекции по истории русского языка. М., 1907.
12. Бернштейн С.Б. Очерки сравнительной грамматики славянских языков: Чередования. Именные основы. М., 1974.
13. Ермакова М.И. Нижнелужицкое именное словоизменение: Имя существительное. М., 1979.
14. Шамина Н.А. Явления родовой синонимии в русском языке // Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань, 1971.



© 1998 г. ПШЕНИЦЫНА Н.А.

**"СМЕРТЬ ХОДИТ ПО ДЕРЕВНЕ..."
(ОБХОДНЫЙ ОБРЯД С "МОРЕНОЙ"
У ЧЕХОВ И СЛОВАКОВ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ)**

Уже давно общепризнанным считается тот факт, что содержание фольклорных (прежде всего – песенных) текстов, включенных в обряды календарного цикла, часто оказывается весьма слабо связанным со структурой и семантикой самого обрядового действия, к которому приурочены песни. В связи с тем, что архаическое ядро исконно обрядовых текстов со временем разрушалось, а потребность заполнить звуковое пространство обряда по-прежнему сохранялась, фольклорный репертуар, сопровождающий ритуальные действия, мог разрастаться за счет разножанровых песенных форм: поздней необрядовой лирики, танцевальных припевок, юмористического фольклора и т.п. Этот процесс, характерный для всех этнических традиций, создает понятные трудности при попытке установления логических и семантических связей между фольклорной образностью и мифологической символикой обряда. Тем не менее, все более актуальной становится задача адекватного прочтения закрепленных за обрядом песенных и приговорных текстов, поскольку именно вербальные стереотипы в конечном счете способны в той или иной мере сохранять важнейшую обрядовую и мифологическую информацию.

В настоящей статье предпринимается попытка проанализировать основные мотивы чешских и словацких фольклорных текстов (песен, благопожеланий, приговоров, формул угроз и т.п.), включенных в обходы колядного типа, совершаемые при ритуале "вынесения Морены", и отметить их обрядовые и мифологические истоки. В качестве источников для такого анализа послужили работы: [1–4].

Обряд "вынесения Морены (Смерти)", приуроченный чаще всего к пятому воскресенью Великого Поста, в большинстве вариантов имеет двухчастную структуру: 1) сделанное из соломы антропоморфное чучело в женском наряде, именуемое "Мореной", "Смертью", "Марой", "Моровой бабой", "Бабой-Киселицей" и т.п., девушки выносили за село и уничтожали: топили, сжигали, разрывали на части, иногда сбрасывали со скалы или забрасывали на дерево; 2) вслед за тем участницы возвращались в село с украшенным деревцем или зеленой веткой, которые назывались: "лето",

"гаик", "маик", "стром", "хвойка" и т.п. В первую или во вторую часть мог включаться также ритуал посещения домов процессией участников, выносящих чучело или вносящих ритуальное деревце, которых хозяева вознаграждали угощениями за исполнение обряда (имеются в виду обходы колядного типа). Противопоставленность двух частей обряда, осмысляемых как замена негативного символа (вредоносной силы, смерти, зимы) на положительный (зелень, лето), находит отражение на уровне мотивировок и в самих фольклорных текстах ("Смерть выносим из села, новое лето несем в село", "Вынесем болезни, принесем здоровье"). Вместе с тем, более подробный анализ песенных мотивов позволяет отметить нарушение этой, как будто очевидной, оппозиции и установить более сложные связи между символикой уничтожаемого чучела и вносимого в село деревца.

Рассмотрим набор наиболее устойчивых словесных формул, сопутствующих обрядам обходного типа при посещении домов с Мореной. Их содержательная основа представлена следующими тематическими группами и мотивами: "Смерть ходит по деревне", "Вынесем Морену – принесем лето", "Что ты, Морена, в пост ела?", "Где ты пребывала?", "Что делала?", "За кого умерла?", "Куда мы ее несем?", "Куда Морена ключи подевала?", "Отдала их св. Юрию, который отмыкает землю, выпускает травы", признаки внешнего вида и поведения Морены, мотивы о встрече нового "лета", "что оно нам принесет?", просьба об урожае и приплоде домашней птицы.

Кроме указанных мотивов, тематически связанных с символами, обозначающими "Морену" или "лето", традиционными можно считать и типовые для всех обходных ритуалов колядного типа просьбы одарить, мотивы сбора продуктов для мифологического персонажа, хозяйственные благопожелания, формулы угроз в случае плохого одаривания и т.п.

1. **Одаривание.** Спецификой текстов, содержащих просьбу одарить участников обходного ритуала, является сочетание с мотивами весенних календарных песен о приходе весны, об отмыкании земли св. Юрием, ключи которому передает Морена (иногда – св. Маркита). Особым образом акцентируется также тема плодородия, урожая, приплода домашней птицы. Сами формулы выпрашивания продуктов сохраняют однотипную схему "ты мне – я тебе" или "дар за дар", отражающую структуру ритуального дарообмена: "Дайте нам яичко, чтобы хорошо подрастал ваш Яничко, дайте нам солонинки, чтобы плодились ваши свинки". В других подобных вариантах упоминаются пожелания: дайте нам, чтобы у вас хорошо паслись коровы, неслись бы куры, чтобы у вас в работе руки не болели и т.п.

Таким образом, в формулах, содержащих просьбы или требования одарить, сохраняются представления о том, что обряд "вынесения Морены" и "внесения Лета" совершался с магической целью ради благополучия односельчан.

В некоторых вариантах просительных формул встречается характерный мотив о том, что продукты якобы собираются в пользу некоего сакрального персонажа (для Морены, Смерти и т.п.). Ср.: "Smrt chodí po vsi, má dlouhe vousy, na ruce košíček, dejte jí pár vajíček" ("Смерть ходит по деревне, у нее длинные усы, на руке корзинка, дайте ей пару яиц"); "Dejte nám, dejte nového koláče, ať se nám Smrtka nerozpláče" ("Дайте нам, дайте от нового колача, чтобы наша Смерточка не плакала").

Формулы угроз, произносимых в случае плохого одаривания, встречаются в репертуаре "моренных" обходов довольно редко. Ср., например: "Nedajte nám dlho stát', bude me vám strechy drat', a pod nohy stlat'" ("Не заставляйте нас долго ждать, станем вашу крышу обдирать и под ноги настилать").

2. **Смерть ходит по деревне.** Фольклорные характеристики Морены (Смерти) позволяют составить представление о ней как о странном, опасном и вредоносном персонаже. Согласно песенным текстам, по деревне ходит существо с длинными черными усами, которое якобы не может само передвигаться и поэтому его несут участники процессии ("Смерть не может сама ходить, мы должны ее носить..."). Этот мотив хорошо известен в Чехии и Моравии. Часто он выступает в сочетании с просьбой одарить: "Смерть ходит по деревне, у нее по локоть усы, а на руке корзинка, просит

пару яиц". Это позволяет отметить акт ритуального "кормления – задабривания" некоего вредоносного персонажа, который затем изгоняется за пределы земного пространства. Показательно, что степень угрозы, исходящей от "Смерти", ставится в зависимость от щедрости одаривания, т.е. хозяева как бы откупаются соответствующей жертвой (дарами) от возможной опасности. Ср., например, типичный вариант песни: "Смерть ходит по деревне, у нее огромные усы, уже не может сама ходить, вынуждены ее носить; с места к месту носим невесту; если нам ничего не дадите, *то вам ее тут и оставим*" ("Smrt chodí po vsi, má veliké vousy, už nám nemůže choditi, musíme ji nositi; od města k městu nesem nevěstu; jestli nám nic nedáte, tak vám ji tu necháme"). Иногда в текстах прямо говорится о необходимости накормить "Смерть", чтобы она не навредила: "Наша Смерть бледная, она бы поела: если она наестся, то уж *нас не удавим*" ("Naše smrt je bledá, ona by jedla: až ona se nají, už nás neudávi").

Таким образом, одаривание участников обряда мотивируется необходимостью обезопасить себя от вредоносной силы, задобрить ее, а уж затем удалить за пределы села. Характерно при этом, что в качестве ритуальной пищи, выделяемой для сакрального гостя, фигурирует в текстах обрядовый хлеб, лепешки традиционно выпекаемые к "Смертному Воскресению": "Дорогая хозяйка, дайте кусок масла, если же нет масла, дайте яичко, если нет яичка, дайте муки этой Смерти на лепешки" ("Panímámo vzácná, dejte kousek másla, nemáte-li masličko, dejte jedno vajíčko, nemáte-li vajíčko, dejte trochu mouky tej smrti na vdolky").

Итак, в формулах одаривания центральными являются два мотива: 1) "чем больше подадите, тем больше прибудет вам добра", 2) "подайте Смерти, чтобы она вам не навредила". Первый из них чаще встречается в обходах с зеленым деревцем, а второй – в обходах с Мореной. Это позволяет говорить о различающихся оттенках значения акта одаривания в разных частях обряда: "мы приходим, чтобы обеспечить вам благополучие" ("внесение лета"); "мы избавляем вас от вредоносной силы" ("вынесение Смерти"). Однако обе эти разновидности мотивировок одаривания по сути сводимы к общему концепту, характерному для обходов колядного типа: выделение ритуальной пищи для потусторонних пришельцев в определенные периоды календаря с целью обеспечения себе хозяйственных благ и безопасного существования [5]. Не удивительно поэтому, что все рассмотренные выше мотивы ("избавление от опасных контактов с мифологическим персонажем" и "увеличение благ, продуцирующей силы", которую этот же персонаж обеспечивает) могут быть связаны то с одним песенным образом (Смертью, Мореной), то с другим (летом, деревцем). Ср., например, словацкий текст, в котором мотив приплода скота соотносится одновременно со "Смертью" и с "маем": "Идет Смертка с куделью в это Смертное Воскресенье, а ты, май, коровам дай и про волов да коней не забудь!"

3. "Где ты, Морена, пребывала? Что ты там делала?" Вопрос о местонахождении можно считать наиболее устойчивым в песенной характеристике Морены. Условно сформулированный нами как "где ты пребывала?", он в действительности представляется в многовариантных формах: *kde si prebývala?*, *kdes tak dlóhu byla?*, *kde ses vzalo?*, *kde si húsky pásala?*, *kde si pocola?*, *kde si zimovala?* Период, на который якобы исчезает Морена, изображается, в песнях по-разному: на неопределенно долгий срок, на зиму, на ночное время. Более определенно характеризуется место пребывания персонажа, которое описывается как удаленное пространство: "за борами, за долами", "за горами, за лесами", "на Дунае, возле моря" и т.п. Чаще всего песенные мотивы отводят ей место вблизи водных источников: "u studienky", "u studinky u hlubinky", "u studienky u vodenky", "u studýnky u rybinku". Реже упоминается о пребывании этого персонажа в растениях ("v červenej gužici"). Наряду с этим песенные тексты сообщают о пребывании Морены в земном пространстве: "v pivnici na lavici", "v dědinskom dome", "v ruchtarovej pajťe", "pri dēdine na klinci, v ruchtárovom plevinci", "v Beláčkike dvore", "na vušnom konci". Оппозиция "далеко–близко" в группе мотивов о местонахождении

Морены могла быть связана с идеей ее сезонного появления на земле (зимой – далеко, в весенний период – в земном пространстве).

Как же характеризуется деятельность Морены вдалеке? Тексты позволяют отметить ее связь с хозяйственными заботами ("гусей пасла"), с занятиями у воды ("колодец копала", "ноги мыла"), с зеленью ("в цветах сидела", "траву рвала"), а также содержат некоторые признаки птичьей символики ("песочек клевала"). Принципиально иначе характеризуется поведение Морены в земном пространстве: тут она предстает как существо, способное навредить, как опасная демоническая сила, которую пытаются отогнать: "Смерть Морене, а нам – нет! Так тебе и надо! Убегай на свое место, ведьма ты эдакая!" ("Smrt' Mařeně, a nám ni!", "Tak ci treba! Bež, hdze patriš, ty bosórka jedna!" [1. S. 186]). Получается, что момент пребывания Морены на земле характеризуется иными мотивами по сравнению с ее безвредными занятиями в удалении. Интересно также и то, что согласно песенным мотивам, переломным оказывается момент, когда контакт Морены с людьми прерван и она вновь возвращается в принадлежащее ей мифическое пространство (ее топят, сжигают, забрасывают на дерево). Здесь образ смерти как бы исчезает, а ему на смену приходит "лето", несущее расцвет, плодородие, урожай, т.е. опять происходит принципиальное изменение в характеристике фольклорных мотивов.

Мы уже упоминали, что стало традицией говорить о противопоставленности двух частей обряда: вынесении "Морены" и внесении "лета". Вместе с тем целый ряд данных ритуального и терминологического характера вынуждает отметить семантическую и функциональную близость обоих обрядовых символов и даже их идентичность. Например, в некоторых вариантах обряда чучело Морены укрепляли на срубленном деревце, с которым обходили дома, собирая продукты, а затем уничтожали и чучело, и деревце. Кроме того, общеславянские параллели показывают, что уничтожение троичной березки, купальского деревца, чучела "ведьмы" и т.п. – это варианты единой семантической и структурной цепи ритуальных форм, распределенных по-разному в разных славянских зонах [6]. Функциональная близость соломенного чучела и ритуального деревца может быть отмечена и на уровне народной терминологии¹ [7].

Показательно также то, что в песенных текстах с Мореной иногда связывается тема урожая, которая, казалось, должна была бы относиться только к "лету". Так, в одной из песен поется: "Смерть, смерть – из деревни, подальше от деревни! Что нам эта смерть принесет? Зеленый хлебушек!" ("Smrt, smrt ze vsi, nedaleko do vsi; co nám ta smrt přinese? Obilíčko zelené").

Можно предположить, что разные варианты сходных по семантике обрядов (хождение с чучелом или с деревцем и их последующее уничтожение) были у западных славян объединены в единый ритуал и со временем стали осмысляться как противопоставленные части единого комплекса. Древнейшее чешское свидетельство, датированное XIV в., упоминает лишь великопостный обычай вынесения из села чучела, представляющего смерть, и его потопление [8]. А по некоторым данным известны варианты, когда Морену топили в "Смертное Воскресенье", а деревце приносили в Вербное Воскресенье [2. S. 159].

В любом случае представляет интерес соотносительность фольклорной символики, связанной с мотивом "Где Морена пребывала и что делала?", с разными периодами сезонных перемещений Морены: в момент ее пребывания на земле, контакта с людьми и после него.

4. "Куда ключи дела?" Мотив "пробуждения земли" – один из наиболее типичных для фольклора и поверий великопостного периода. В песенных версиях землю отмыкает чаще всего св. Юрий, которому ключи приносят разные персонажи и в том числе "Морена". Для текстов песен "моренного" цикла чрезвычайно устойчивой оказывается

¹ Ср. названия чучела: *smrtnica, smrtolka, smrt'ak, květnica, stromek, majek* и соответственно названия ритуального деревца: *smrtolka, smrt', marmuriena, morena zelena* и под.

вопросно-ответная структура на тему "куда ключи дела?" – "передала их св. Юрию (св. Яну)".

Если учесть, что символическое значение ключей – власть над чем-либо [9], то можно допустить, что подобные тексты отразили представления о сезонном перераспределении полномочий между мифическими персонажами, причем Морене отводилось зимнее время, а св. Юрию – весеннее².

Содержательная основа мотивов "Где ты была и что делала?" позволяет заключить, что Морена в разные календарные периоды находится в разных пространствах и периодически совершает переходы из одного мира в другой.

Именно с этими переходами связана смена сезонов (зимы–лета) и начало нового вегетативного цикла. Таким образом, песенный образ Морены с одной стороны содержит некоторые признаки сезонного духа, появление которого на земле способствует "отмыканию земли" и появлению зелени, а с другой – имеет признаки вредоносной демонической силы, связанной с миром умерших (об этом свидетельствуют варианты ее имени, соотносимые со смертью, и требование выделения для нее поминальной пищи), которую в определенное время необходимо выпроводить за пределы земного пространства.

5. "За кого умерла?" Если тематика, связанная с сезонными изменениями природы и переходами мифологического персонажа из одного пространства в другое, имеет аналогии в обрядовом фольклоре других славян, то мотив "умирания Морены за кого-то" является специфическим в репертуаре чешских и словацких песенных формул, включенных в состав анализируемых обрядовых комплексов. Он напрямую связан с народными мотивировками обрядовых действий, производимых для того, чтобы не было мора на людей. Кроме того, он отражает поверья о вредоносности "завившихся" стариков (т.е. представлений о том, что срок их чрезмерно долгой жизни длится якобы за счет других, более молодых, людей). Чаще всего на вопрос "за кого умерла Морена?" следует ответ: "за старого дедка с бородкой редкой", причем, по мнению этнографов, речь идет о самом старом жителе деревни. Вместе с тем, в песенных формулах этого типа могут фигурировать и лица, принадлежащие молодежной группе: Морена якобы умирает за "velčovské panny", "za bytčiarškých mládencov", "pro pacholky" и т.п. В ряде случаев песни с мотивом "за кого Морена умерла?" исполнялись возле домов, где жили неженатые парни и незамужние девушки, т.е. – судя по песням – Морена умирала якобы для того, чтобы молодые вступали вовремя в брак.

Таким образом, этот мотив характеризует Морену как персонаж, связанный с оппозицией жизнь–смерть, брак–безбрачие, норма–нарушение нормы.

Как показал этот обзор песенных мотивов и приговорных формул, содержание текстов не только сохраняет связь с обрядом, но и содержит ценную мифологическую информацию. Ярким примером этого служат сохранившиеся только на вербальном уровне данные об особом типе одаривания (производимого не по привычной схеме "дар за дар", а по принципу избавления от угрозы). В великопостных обходах с Мореной и прежде всего в сопутствующих текстах настойчиво подчеркивается идея вредоносности главного персонажа и зависимости благополучия людей от его изгнания (уничтожения). Но особенно важно, что этот комплекс представлений сочетается в текстах с мотивами наступления нового сезона, начала вегетативного цикла, "отмыкания земли".

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что при всех очевидных изменениях и преобразованиях обрядовых жанров анализ вербальных текстов открывает особые возможности для воссоздания целостной картины представлений, связанных с обходами великопостного периода, и для реконструкции архаического смысла обряда. И хотя наблюдения, изложенные в статье, имеют предварительный характер, хотелось бы надеяться, что они окажутся полезными для последующих исследований,

² Согласно мнению Ч. Зибрта, именно зима – время Морены, когда она владеет ключами от вырея [3. S. 558].

в частности, для изучения мифологической семантики конкретных календарных периодов, а если брать шире, то и для осмысления календаря как явления, отразившего особые принципы взаимоотношения макрокосма и микрокосма: т.е. Мира и Человека [10].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Vaclávk A.* Výroční obyčeje a lidové umění. Praha, 1959.
2. *Horvátová E.* Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava, 1986.
3. *Zíbrt Č.* Vynášení "smrti" a jeho výklady, starši i novější // *Český Lid*, 1893, № 4–5. S. 453–472, 549–560.
4. *Vyhliđal J.* Smrtná neděle u děti slezských // *Český Lid*, 1900. № 3. S. 242–247.
5. *Виноградова Л.Н.* Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: Генезис и типология калядования. М., 1982.
6. *Толстая С.М.* Вариативность формальной структуры обряда (Купала и Марена) // Типология культуры: Труды по знаковым системам. Т. XV. Тарту, 1982. С. 72–89.
7. *Валенцова М.М.* Терминология словацкой календарной обрядности. Диплом. раб. МГУ, 1988.
8. *Zíbrt Č.* Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha, 1950. S.210.
9. *Потебня А.А.* О некоторых символах в славянской народной поэзии // А.А. Потебня. Слово и миф. М., 1989. С. 367.
10. *Зелинский А.Н.* Конструктивные принципы древнерусского календаря // Контекст. М., 1978. С. 62–135.

© 1998 г. *КОРОВИЦЫНА Н.В.*

МЕЖДУ ДВУМЯ РЕВОЛЮЦИЯМИ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР В ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО СОЦИАЛИЗМА

Два исторических рубежа – 1917 и 1991 гг. – являются поворотными в отечественной истории XX в. Между ними – совокупность процессов политического противостояния в мировом масштабе двух общественных систем – капиталистической и социалистической – и форсированного преодоления отставания последней в экономической и культурной областях. Процессы эти эндемичны для стран восточно-европейского региона, после второй мировой войны попавших в сферу советского влияния. Причем некоторые из этих типологически близких процессов в отдельных странах региона нашли свое наиболее яркое проявление [1]. Так, например, в социокультурной сфере особенно интересен опыт Польши, которая к тому же явно выделяется на общем фоне по степени их изученности. Уже с середины 50-х годов здесь формируется национальная социологическая школа, благодаря которой эту страну по праву называют "социологической лабораторией" бывших социалистических стран.

Общественное развитие стран региона в 1948–1989 гг. рассматривается в статье через призму процессов смены поколений, точнее их социально-культурного авангарда – высокообразованных слоев, доля которых в структуре населения пережила в этот период стремительный рост. В судьбах трех поколений восточноевропейской интеллигенции – 30-х, 50-х и 70-х годов рождения, или старшей, средней и младшей – отражена история соответственно становления, стабилизации и краха социалистического строя.

У истоков восточноевропейского социализма находится предопределивший всю его последующую историю "большой модернизационный скачок" конца 40-х – 50-х годов, совершенный по образцу советского – конца 20-х – 30-х годов. Его массовую основу в странах региона составила молодежь – наиболее динамичная и восприимчивая к новым идеям и проектам власти часть населения, вступившая в общественную жизнь в годы первых восточноевропейских пятилеток. Следующее за этим – среднее – поколение, начавшее трудовую деятельность в 70-е годы, можно рассматривать как переходное

Коровицына Наталья Васильевна – д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

между поколением "большого модернизационного скачка" 50-х и поколением "шоковой терапии" 90-х, между коммунистической и либерально-демократической системными трансформациями. Обе они, последовав непосредственно вслед за сменой власти в странах региона в 1948–1989 гг., имели характер осуществляемого "сверху" радикального реформирования общества вплоть до изменения совокупности жизненных целей и ценностей населения. Одним из наиболее эффективных инструментов реализации политики правящих партий оставалось на протяжении всей второй половины XX в. манипулирование образовательной структурой общества.

Фактор уровня образования в сочетании с членством в компартии в послевоенный период стал решающим в регулировании процессов социальной мобильности населения. Политика активного поощрения социалистическим государством роста уровня образования накладывалась на благоприятные в этом отношении исторические предпосылки. Подъем культуры и образования традиционно опережал экономическую и политическую модернизацию стран, длительное время относившихся к периферии западноевропейской цивилизации. В межвоенный период, прежде всего в Польше и Венгрии, с их развитыми традициями дворянской культуры господствует представление об образованности как признаке социального превосходства, открывающем дорогу в средний класс, особенно к ставшим наиболее престижными тогда профессиям служащих. В довоенной Польше, по оценкам социологов, существовал небывалый разрыв в уровне престижности нефизического труда даже самого необязательного типа и наиболее ответственных видов физического труда [2. Р. 14].

После социалистических революций в условиях форсированной индустриализации резкий рост занятости сопровождался открытием широких каналов социально-профессиональной мобильности, преимущественно восходящей. "Спрос" на интеллигенцию и госслужащих выходил далеко за пределы довоенного слоя потомственных представителей этих групп населения. Открытие доступа к образованию всех уровней, включая высший, при непопулярности рабочих профессий сформировало массовую ориентацию на вузы как "путь наверх". Образованность ассоциировалась в сознании людей с городским стилем жизни, стимулируя формирование определенных социокультурных стандартов "продвинутой", получивших широкое распространение среди молодежи периода становления коммунистического режима в странах региона. Доступ к образованию не только открывал для них возможности быстрой профессиональной карьеры, но и давал сознание реальности провозглашенных властью принципов всеобщего равенства, демонстрируя крушение социальных барьеров между высшим классом и "простым народом".

В результате поощряемой режимом массовой восходящей мобильности, согласно данным опроса 1961 г. польских мужчин, живущих в городах, 42% их занимали более высокое положение, чем их отцы в том же возрасте, т.е. повысили свою квалификацию и образовательный уровень, перешли от физического труда к умственному и стали относиться к категории "социально-продвинутых". А по самооценке возрос статус 44% опрошенных [3].

Наиболее широко востребуемые в годы ускоренного промышленного роста инженеры на первом послевоенном этапе в большинстве своем были самыми преданными сторонниками социалистической модели экономики даже по сравнению с рабочими. Последние, как показал польский социолог А. Малевский, в том же 1961 г. желали изменения существующего строя в сторону большего демократизма, подразумеваемая под ним последовательный эгалитаризм. Инженеры решительнее, чем рабочие, выступали и против частнособственнической модели общественного устройства как альтернативной социалистической [4].

Исследование американских ученых А. Инкелеса и Р. Бауэра, проведенное в среде эмигрантов из СССР в 50-е годы, показало, что именно молодежь тех лет в наибольшей степени поддерживала социалистический порядок. Прежде всего это относилось к молодым профессионалам, выросшим в условиях социализма и принявшим его идеи. Они оказались горячими сторонниками принципов коллективизма и госу-

дарственного контроля над промышленностью. В отличие от предшествующего поколения, пережившего годы коллективизации и политических репрессий, молодежь 30-х годов рождения была убеждена, что жизнь в СССР улучшится со сменой руководства страны. На основании этого исследования авторы книги даже пришли к выводу о том, что поддержка советского режима усилится со сменой поколений и распространением высшего образования в стране [5].

На иные мысли наводили результаты упомянутого опроса А. Малевского. Как оказалось, за бóльшую разницу в заработках инженеры, вышедшие из рабочей среды, выступали чаще, чем представители рабочего класса, а потомственные инженеры – соответственно чаще, чем маргиналы. Т.е. эгалитаризм терял свой радикализм и популярность у более продвинутых в социальном и экономическом отношениях групп общества [4. Р. 30]. У высокообразованных контингентов населения возникло противоречивое сочетание поддержки принципов всеобщего равенства, в том числе в оплате труда, с одной стороны, и желания быть все же "более равными" по сравнению с остальными – с другой. Это противоречие приобрело критический для общества характер, став массовым явлением лишь со второй сменой поколений периода социализма двадцатилетие спустя. Первая же их смена в начале 60-х годов сделала генерацию 30-х годов рождения преобладающей в структуре экономически активного населения, одновременно преобразив весь социальный облик восточноевропейского общества [6]. Оно трансформировалось из аграрного или полуаграрного в индустриальное, характеризующееся преобладанием занятости населения в промышленности. Экономическая отсталость стран региона была ликвидирована, а процесс форсированной индустриализации в основном завершен.

Провозглашенный властями курс на научно-техническую революцию, интенсивные факторы общественного развития делал образование ключевой ценностью. Система высшего и среднего специального образования еще переживала в 60-е годы время своего наиболее бурного за весь период социалистического развития в СССР и Восточной Европе роста. Вместе с тем прологом революций 1989–1991 гг. стали события 1968 г. в Чехословакии. Молодая чешская интеллигенция – представительница поколения 30-х годов рождения – предприняла первую попытку пока лишь совершенствования системы социализма, добиваясь последовательной реализации своего образовательного потенциала в труде и общественной жизни. Превращение профессиональной компетентности в единственный критерий подбора кадров являлось одним из главных требований чешских реформаторов 60-х годов. С их политическим поражением связано начало длительного процесса трансформации общественной системы социализма. Спустя два десятилетия "чешский опыт" приобрел общерегиональные масштабы.

Крупное социологическое исследование, проведенное в Чехословакии осенью 1967 г. коллективом под руководством П. Махонина, показало характерную для региона в целом картину. По формальным показателям экономическая отсталость Словакии была уже преодолена, но сохранялась значительная неадекватность социокультурных характеристик чешского и словацкого населения: велики были различия в уровне образования и степени урбанизированности, в образе жизни и стандартах потребления двух наций [7]. Семидесятые годы "уравнивали" не только Чехию и Словакию, но и все остальные страны региона, а также советские республики по степени их "цивилизационной продвинутости".

Анализ, предпринятый чехословацкими социологами на заключительном этапе периода "нормализации" в 1984 г., выявил тождественность социальной структуры населения двух республик. Практически не осталось различий в распространенности городского стиля жизни и сложности выполняемого труда, его оплаты. Почти одинаковым было теперь и качество жилища, и участие в политической деятельности [8]. Главным итогом 70-х годов стало появление многочисленной словацкой интеллигенции: доля ее в социальной структуре населения превысила аналогичный показатель по Чехии. Перепись населения 1980 г. впервые зарегистрировала превышение доли эко-

номически активного населения с высшим и полным средним образованием Словакии по сравнению с Чехией. Причем для первой стала характерной "полярная" структура образовательного потенциала с большей представленностью самых высоких и самых низких уровней образования при существенно меньшей, чем в Чехии, доле квалифицированных рабочих [9]. В целом по региону, чем ниже был уровень экономического развития страны, тем выше – доля высокообразованных специалистов с одной стороны и занятость неквалифицированным физическим трудом – с другой. Такое сочетание отличало прежде всего СССР и Болгарию [10. С. 103].

Это подтверждали данные, полученные группой отечественных социологов под руководством Ю.В. Арутюняна. Еще в 1970 г. между советскими нациями существовали заметные социокультурные различия. К началу же 80-х годов даже для СССР с его исходно глубокими цивилизационными перепадами между нациями дифференциация этносоциальных показателей оказалась уже относительно незначительной [11]. Наибольший прогресс в устранении межнациональных различий был достигнут в образовательной сфере и – главное – возникли национальные кадры интеллигенции. Они заявили о своих претензиях на участие в управлении обществом еще в конце 60-х годов, породив "интеллигентскую" форму национализма [12]. А еще через два десятилетия процессы формирования национальных элит привели к распаду СССР и других социалистических федераций – югославской и чехословацкой.

Основным социально-демографическим субъектом второго этапа послевоенного развития в СССР и Восточной Европе явилось поколение 50-х годов рождения, или среднее. Прошедшее все институты социализации общественной системы, оно отдавало одностороннее предпочтение нефизическим видам труда и рассматривало образование как "социальный эскалатор", обеспечивающий продвижение к более престижным и высокооплачиваемым позициям. Уже на ранних этапах биографии этого поколения опыт старших, сформировавшийся в годы форсированного преодоления "отсталости" стран региона, оказывал на него сильное влияние.

Даже оставшиеся в стороне от процессов индустриализации жители села советовали детям отбросить "старые пути" и искать менее трудную и более благополучную жизнь в городе. Еще в начале 60-х годов в СССР, как установил В.Н. Шубкин, сельское население предпочитало физический труд умственному, а уже к 1970 г. в результате процесса смены поколений его взгляды на этот вопрос в корне переменялись [13]. Сложилась массовая основа урбанизации и остальных стран региона. Намерение молодежи 60–70-х годов покинуть село часто реализовывалось в стремлении выходцев из крестьянства к продолжению образования. Свыше 80% сельской молодежи Польши в 1965 г. собирались после окончания неполной средней школы продолжить учебу [14].

Еще больше была привлекательность "чистых рук и белого воротничка" для детей рабочих. Ожидания югославских рабочих в отношении судеб их детей, по оценке специалистов, были "несомненно сверхоптимистичны" на фоне фактических возможностей их попадания в ряды служащих [2. Р. 46]. В промышленных городах Румынии с начала 70-х годов 87% учащихся ориентировались на получение высшего образования, т.е. на нерабочую карьеру, несмотря на преобладавшее в этой среде рабочее происхождение [15]. Вообще, чем ниже был уровень образования родителей, тем больше они ценили успехи своих детей в учебе [16].

Наконец, быстро нарастала тенденция наследования социального статуса в среде интеллигенции, среди служащих. Численность их в 60-е годы достигла того предела, когда возможно простое межпоколенное замещение этих групп общества. Представители их давали очень высокую самооценку своему положению и стремились, чтобы дети достигли не меньшего, чем их собственный, уровня образования, обеспечивая потомству перспективы исключительно интеллектуального труда. В образованных кругах крупных городов, сложившихся к тому времени в регионе, вузовское образование превратилось в семейную традицию.

Несмотря на рабоче-крестьянскую риторику властей, на рубеже 60–70-х годов господствовало отношение к росту уровня образования как универсальному механизму

реализации самых далекоидущих жизненных планов. Исследования социологов разных стран однозначно фиксировали несоответствие структуры профессиональных склонностей молодежи и действительных потребностей общества в кадрах специалистов. Имевшие устойчивую тенденцию к социальному выравниванию, профессиональные намерения, особенно у девушек, явно опережали реальное общественное развитие. Это поколение формировалось как потенциальный фактор грядущего кризиса системы социализма.

Уже интеллигенция поколения 30-х годов рождения, особенно потомственная, воспринимала свои заработки как неадекватные уровню ее подготовки. А чешские профессионалы – в условиях наиболее эгалитарной в регионе системы оплаты труда – считали себя обделенными по сравнению с коллегами не только на Западе, но и в соседних соцстранах. Недооценка квалифицированного труда в материальном выражении была в Чехословакии близка к мировому рекорду. В 1964 г. соотношение средних доходов рабочих, техников и служащих составляло в промышленности 100:130:84 [17].

Тем не менее исследование социального происхождения студентов чехословацких вузов 1978 г. показало, что у большинства из них оба родителя принадлежали к категории служащих, причем "социально-перемещенных" на первом послевоенном этапе. А поскольку 62% представителей новой интеллигенции старшего поколения стали управленцами, неудивительно, что среди родителей студентов вузов конца 70-х годов "руководящие работники" составили 40% [18].

Влияние уровня образования родителей на занятия детей в Чехословакии, снизившееся после революционной трансформации 1948 г., в последующем превысило исходный уровень [19]. Именно образование, а не род деятельности старшего поколения восточноевропейцев, было важнейшей детерминантой широты профессиональных шансов их детей – генерации 50-х годов рождения.

Отсутствие в третьей четверти XX в. в СССР и Восточной Европе иных, кроме образовательного, каналов восходящей мобильности через, например, самостоятельную предпринимательскую деятельность абсолютизировало роль высшей школы как по существу единственного доступного и законного пути к преуспеванию. В условиях отсутствия частного сектора высшее образование превращалось в своего рода форму собственности, вид "капитала", обладание которым предопределяло положение личности в обществе. Элитные слои восточноевропейского общества, традиционно рекрутировавшиеся из обедневшего дворянства, всегда выше всего ценили престижный социальный статус. Они разделяли с марксизмом пренебрежительное отношение к частному предпринимательству и приносящему прибыль крестьянскому труду. Наиболее притягательным в послевоенный период оставалось не соответствовавшее приоритетам развития материального производства гуманитарное образование. Обладатели его ассоциировали свой статус с образцами дворянской культуры [2. Р. 107].

Превращение образования, в том числе высшего, в поколении 50-х годов рождения в массовый феномен лишало его носителей характерного для старшего поколения ореола социальной исключительности. Тем не менее чувство элитарности интеллектуалов проявлялось в условиях постоянного сужения у молодежи второй половины 60-х – 70-х годов перспектив реализации далекоидущих образовательных намерений, формировавшихся в равной мере у всех социальных групп населения не только в семье, но и в школе.

В течение трех послевоенных десятилетий страны региона стремительно преодолели рубежи всеобщей грамотности, неполной средней школы и, наконец, в 70-е годы – всеобщего среднего образования. В 1976 г. впервые в истории СССР около 90% молодежи вступило в трудовую жизнь, имея полное среднее образование [20]. Получавшие его могли формально претендовать на поступление в вуз, хотя относительно немногие оказывались среди поступивших. А еще в начале 60-х годов практически все выпускники средней школы могли поступить в высшую.

По мере увеличения охвата молодежи средним образованием шансы на продолжение его в стенах вуза, прежде всего для рабоче-крестьянской молодежи, закономерно сокращались. Путь к высшему образованию становился все более трудным: первая попытка сдачи экзаменов не приносила успеха каждому второму абитуриенту. Феномен повторных экзаменов в вуз получил в 70-е годы широчайшее распространение во всех странах региона. Более половины не прошедших их выходцев из семей интеллигенции в СССР и Болгарии предпочитали временное трудоустройство в сфере неквалифицированного физического труда [10. с. 112]. Ризику повторного прохождения экзаменов болгарская молодежь предпочитала в эти годы изучение любой другой вместо избранной специальности [21]. Сам факт поступления в вуз уже означал попадание в привилегированную группу населения. В "конкурентной борьбе" складывалась элитарная ментальность обладателей вузовских дипломов, отделяющая их от остальных сверстников.

В условиях относительного насыщения потребностей в специалистах – к концу 70-х годов к "интеллигенции и служащим" относился каждый четвертый-пятый восточноевропейец, – а также нарастания экономических трудностей с середины этого десятилетия неизбежным был отказ в некоторых соцстранах от практиковавшихся прежде квотных принципов поступления в вуз в пользу малоконкурентоспособных групп населения и возврат к принципам рациональности в наборе студентов вузов. Приоритет естественно отдавался более подготовленным выходцам из среды работников умственного труда крупнейших городов, воспроизводящим второе поколение "социальной элиты" стран региона.

Свой социальный и экономический статус молодая интеллигенция среднего поколения соизмеряла со статусом гораздо менее многочисленных представителей этой группы старшего поколения. Молодежь ждала существенного "отрыва" в материальном положении и от всего остального населения, и от родителей. Запросы этой группы общества, выросшей в относительно обеспеченных семьях привилегированных родителей, было бы нелегко удовлетворить даже при благоприятной динамике экономической ситуации в регионе.

Вхождение молодой интеллигенции 50-х годов рождения в трудовую жизнь совпало с поражением технократического потребительского социализма и началом экономического спада в СССР и Восточной Европе. На этом фоне произошло усиление уравнилельных тенденций в оплате работников различного уровня квалификации, в чем не последнюю роль сыграл рост доступности образования. Многочисленное увеличение количества инженерно-технических работников в период социализма примерно вдвое превышало рост численности рабочих. Необходимость повышения минимальных окладов была вызвана стремлением компенсировать непрестижные малоквалифицированные виды ручного труда, все еще достаточно широко распространенные в восточноевропейском обществе: в конце 70-х годов свыше трети всех занятых в СССР и Болгарии составляли работники доиндустриального типа [10. С. 48]. Одновременно почти заморожены были заработки технико-управленческого персонала, составлявшего основную часть молодых профессионалов с качественно более высоким уровнем потребительских стандартов и норм жизни, сопоставимых с западными. Так, в 1967 г. средние доходы специалистов с высшим образованием в Польше вдвое превышали доходы квалифицированных рабочих, в 1976 г. – в 1,7 раза, в 1980 г. – всего в 1,2 раза, в последующие годы практически выровнявшись [22. Р. 279]. В СССР зарплата наиболее высокообразованных работников вдвое превышала зарплату промышленных рабочих в 1940 г., в 1960 г. – в полтора [23]. А в 1968–1978 гг. в нашей стране проявился даже эффект инверсии роста оплаты труда и уровня квалификации [24].

Относительное перепроизводство молодых специалистов, опережавшее уровень экономического развития стран региона, вынуждало их не только довольствоваться невысокими заработками, но и занимать должности, не соответствовавшие их подготовке и квалификации, что привело к росту текучести кадров данной возрастной

группы. Наконец – особенно важно – усиливалось ограничение приема интеллигенции в компартию, членство в которой было неизменным условием профессиональной карьеры.

Образование из ценности с "широким полем инструментальности", с которой связывались большие ожидания и материального, и морального плана, превращалось в ценность скорее декоративного характера. Среднее поколение обнаружило, что образование не дало ему тех социальных преимуществ, на которые оно рассчитывало. Для этого поколения интеллигенции достижение "культурного уровня" родителей имело гораздо более ограниченные социальные последствия.

Очередная смена поколений, когда генерация 50-х годов рождения, ее менталитет стали преобладающим в восточноевропейском обществе, произошла в начале 80-х годов. Она принесла с собой новую систему ценностей, отвергнув старую, сложившуюся два десятилетия назад при предшествующей смене поколений. Именно образование позволяло людям повышать свой социальный статус в соответствии с прежней системой ценностей. Утвердившаяся в общественном сознании в начале 60-х годов иерархия престижа профессий была строго адекватной иерархии уровней образования. Наиболее привлекательными оставались профессии, требовавшие высшего образования [25].

На рубеже 70–80-х годов теряет стабильность иерархия привлекательности отдельных профессий: повышается статус работников сферы обслуживания и понижается – ученых [26]. Вслед за этим падает притягательность и самого вузовского образования. Низшие точки этого падения приходятся на период триумфа интеллигенции, связанный с "бархатными" революциями конца 80-х – начала 90-х годов. Предшествующая им девальвация ценности образования была "социокультурным эхом" абсолютизации ее в годы "большого скачка" 50-х годов.

К началу 80-х годов, когда завершались процессы социалистической модернизации уже не только в экономической, но и в культурной сфере, и задачи "строительства социализма" были уже по существу решены, неадекватность прежнего политического курса новым общественным реалиям, как и несовершенство социальных механизмов поддержания власти, стали очевидными для "прогрессивной" части руководства компартий. Уровень образования населения, достигнув относительно высоких значений, перестал выполнять функцию основного инструмента рекрутирования массовой базы социалистических режимов и обеспечения их стабильности. Они уже не могли превратить инженеров в "героев" несостоявшегося технократического потребительского социализма. Лозунги общественного равенства снимались с повестки дня.

Осознание народом несоответствия идеалов социального равенства действительности нарастало параллельно девальвации ценности образования в обществе.

В конце 70-х годов состояние социального равенства воспринималось прямо противоположно ожиданиям двадцатилетней давности, когда половина польских граждан ориентировалась на полную ликвидацию социальных различий в стране, а почти все остальные хотели их сокращения [27. Р. 226]. Вопреки ожиданиям, люди стали свидетелями нарастания неравенства в обществе, причем, как считалось, незаконного. Исследования показали, что социальное происхождение, а также пол, возраст, даже профессия не воспринимались населением в качестве источников социального неравенства уже в начале 60-х годов. Только три параметра личности рассматривались как основания ее превосходства по отношению к окружающим – величина дохода, уровень образования и положение во власти (управленческая позиция). Еще в первой половине 70-х годов все они в равной мере детерминировали социальный статус. Однако опросы 1979 и 1980 гг., проведенные в Польше, показали, что доход и положение ранжировались уже гораздо выше по сравнению с уровнем образования и превратились в однозначно наиболее важные. Третье место в этом списке занял новый источник неравенства – личные связи и знакомства [27. Р. 228].

Именно эти факторы социального неравенства и получили в дальнейшем – уже после революций 1989–1991 гг. – свое наиболее полное развитие. Так, в России в

1994 г. залог жизненного успеха 46% опрошенных видели в обладании властью, 30 – в богатстве и лишь 8% – в образовании. Причем ниже всего оценивали возможности образования именно специалисты [28]. Весной 1989 г. 44% чешских школьников не рассматривали высшее образование как эффективный путь к успеху, а 60% вообще не связывали перспективу своего преуспеяния с компетентностью [29].

Нарастание внутренней конфликтности в обществе в период, предшествующий революциям рубежа 80–90-х годов, проявлялось в недовольстве не "низов" общества "верхами", как это было в начале 60-х годов, а, наоборот, в "ущемленности" статуса привилегированных в 70-е. Низовые слои общества часто оказывались в лучшей ситуации по сравнению с высшими: менее образованные имели большие заработки, чем высокообразованные, работники физического труда могли обладать более высоким уровнем благосостояния, чем интеллигенция. Уже в период с середины 60-х годов сокращалась зависимость между уровнем образования и уровнем жизни.

К 1980 г. общество отчетливо делилось в сознании населения на "элиту", обладающую высокими доходами и связями, с одной стороны, и всех остальных – с другой. Это совершенно не соответствовало утвердившимся за послевоенные десятилетия представлениям о социальной справедливости, которые ассоциировались прежде всего с профессиональной принадлежностью и уровнем образования. Еще проявлялось недовольство слишком большими различиями в заработках, но преобладавшая в конце 50-х годов идея полной уравниловки – относительного равенства доходов всех граждан – ушла в прошлое. Эгалитаризм приобрел характер умеренного. Гораздо важнее стали теперь для работников требования к самой системе вознаграждения, ее адекватность реальным затратам труда. Среди принципов дифференциации оплаты труда, как и критериев выдвижения на руководящие должности, знания, квалификация и образование должны были, по общему мнению, стоять на первом месте. Однако сложилось убеждение, что в действительности "нечестность" и "мошеничество" являлись главными источниками благосостояния [27. Р. 233]. Отказ в легитимности группе людей, располагавших, как правило, одновременно и властью, и богатством, достиг наибольшей массовости в Польше в преддверии событий 1980 г.

До этого временного рубежа в Восточной Европе, как и в СССР, работали – хотя и с угасающей интенсивностью – механизмы социально-образовательной мобильности, по существу цементируя социалистическое общество, особенно в первые два десятилетия его существования. Однако на рубеже 70–80-х годов эти же механизмы начали выступать в явно противоположной – дестабилизирующей общество – роли.

Одновременно появляются ощутимые межпоколенческие различия, незаметные прежде. Все больше возрастает взаимоусиливающая роль поколенческого и образовательного факторов. Революционные перемены в обществе становятся делом времени.

Если в начале 60-х годов Ст. Новак обнаружил, что под "хорошей общественной системой" поляки подразумевают прежде всего обеспечение ею "равных шансов для всех", то спустя полтора десятилетия под влиянием роста численности высокообразованных групп населения на первое место среди этих характеристик выдвинулась возможность "свободы слова" [30. Р. 224]. Молодая интеллигенция была особенно критичной по отношению к существующему порядку, все больше лишая его морального доверия. В период 1978–1984 гг. в Польше ослабление трудовой мотивации декларировало 42% служащих и всего четверть рабочих [30. Р. 104]. В противовес ситуации 50-х годов наименее образованные слои рабочего класса оказались наиболее удовлетворены своей жизнью и позитивно оценивали ход общественного развития.

Политический режим в 80-е годы лишился своей массовой основы в среде высокообразованных слоев населения. Их социальный оптимизм – всегда прямо пропорциональный достижениям и обратно пропорциональный притязаниям – был широко распространен в 50-е годы. Он сохранялся в 60-е, но в 70-е по мере развития процесса замещения поколений уступал место настроениям преимущественно пессимистическим.

Доверие к режиму с его стратегией "пропаганды успехов" сменялось все более выраженным скептицизмом и цинизмом прежде всего со стороны генерации, историческая память которой ограничивалась лишь последним десятилетием. Резко сократилась распространенная у интеллигенции старшего поколения уверенность в своих жизненных перспективах, проецируемая на общество в целом. Западные наблюдатели свидетельствовали, что, например, настроение советского среднего класса в конце 70-х годов во всех отношениях было зеркальным отражением его настроений двадцатилетней давности [31].

Высокообразованная молодежь СССР была разочарована выбором профессионального пути в наибольшей степени. Опрос начала 80-х годов показал, что только 40% ее повторили бы этот путь. Чуть выше этот показатель в Болгарии, тогда как в Венгрии и Польше – более 60%, а в Чехословакии даже 88% молодой интеллигенции вновь избрали бы ту же профессию [32]. Характерно, что аналогичным образом ранжировалась по странам рассмотренная выше сверхпредставленность детей интеллигенции среди студентов вузов рубежа 60–70-х годов – наибольшая в наименее развитых странах. Советологи недоумевали по поводу того, что, "те, кто жил в крупнейших городах, имел высшее образование, наиболее квалифицированную работу, зарабатывал больше других, занимал лучшие квартиры и лидировал в стандартах потребления, чувствовал себя наиболее неудовлетворенным". Причем эффект величины дохода формировал эту неудовлетворенность в гораздо меньшей степени, чем эффект образования [33].

В 1977 г. У. Коннор писал, что, хотя молодая интеллигенция стран региона, конечно, не является могильщиком социализма, она вряд ли станет его главной опорой по достижении среднего возраста [34]. Но впереди было десятилетие польского кризиса, годы советской перестройки, когда окончательно определилась расстановка социальных сил, приведших к революциям рубежа 80–90-х годов в СССР и Восточной Европе. Все это время правящие партии стран региона стояли перед необходимостью смены курса. Это было десятилетие не столько альтернативы "социалистического и капиталистического выбора", сколько время отработки конкретных путей перехода "от социализма к капитализму" в ситуации, когда "иного не дано".

Анатомию распада социалистического общества в 80-е годы и решающую роль образовательного фактора в этом процессе лучше всего исследовать на примере Польши. Трансформация общественного сознания в преддверии смены режима совершалась здесь последовательно в течение целого десятилетия, начавшегося с выступления рабочих в августе 1980 г. Смена основной движущей силы перехода от "социализма к капитализму" с рабочего класса на интеллигенцию завершилась к середине этого десятилетия. Она была вызвана большим по сравнению с рабочими недовольством обладателей "культурного капитала" отсутствием социальной справедливости в обществе [35].

История 80-х – это процесс трансформации принципов, по выражению чешского социолога П. Матейю, "несправедливого равенства", доминировавших в массовом сознании 50–70-х годов, в принципы, которые получили название "справедливого неравенства, основанного на критериях эффективности труда". В основе этого процесса находилась политизация резко возросшей потребительской неудовлетворенности населения. Еще во второй половине 70-х исследователи социологов свидетельствовали о том, что общество, особенно его молодое поколение, "нематериалистичны", приоритетными являются ценности семейной жизни, а также получение образования. Особенно характерно это было для Польши, Болгарии, Советского Союза, в меньшей степени – для Венгрии, где уже с конца 60-х годов начала развиваться предпринимательская деятельность населения в условиях постепенной либерализации экономики [36].

В 80-е годы власть уже утратила возможность обеспечения стабильности и легитимности политического режима через механизмы социального равенства, действующие в сфере образования и занятости. При переходе к "новому курсу" решающее

значение приобрела опора на неудовлетворенные массовые ожидания, сложившиеся в ходе социалистического этапа общественного развития.

Последний всплеск интереса к ценностям равенства и справедливости как вид противостояния "народ – элита", подразумевающая под последней коррумпированную верхушку общества, породил в Польше в 1980 г. движение Солидарность. Впоследствии оно было названо "лебединой песней польского романтизма". Эгалитарные лозунги оппозиции были выражением ее протеста против системы привилегий власти, против несправедливых критериев распределения. Во главе движения стояли 20–30-летние квалифицированные рабочие и инженеры. Ценности равенства и справедливости, лежавшие в основе официальной идеологии социализма, в последний раз объединили интеллигенцию с рабочим классом, по существу завершив историю альянса этих двух сформированных всем послевоенным развитием социальных сил.

Резкое изменение социально-политической ситуации произошло в Польше уже в начале 80-х годов. СССР и остальные страны региона пережили аналогичный процесс лишь в конце этого десятилетия. Однако везде "тихая революция", или "революция сознания", выражавшаяся в трансформации системы ценностей, предшествовала смене общественной системы, ее политических и экономических реалий. В ходе этой революции – в СССР называвшейся перестройкой – мировоззрение людей менялось не менее радикально, чем в результате предшествующей – социалистической революции.

Уже в 1980–1984 гг. в Польше, как установила Л. Коларская-Бобинская, обвально падает поддержка эгалитарных принципов и возрастает количество сторонников углубления социальной и экономической дифференциации общества. В 1980–1981 гг. снижается количество сторонников политики полной занятости с 77,4 до 54,3% опрошенных, а затем – в 1981–1984 гг. – политики снятия "потолка" доходов с 78,6 до 56,1%. О социальных корнях такого рода сдвига свидетельствует одновременный резкий рост поддержки принципа строгой дифференциации доходов в зависимости от уровня квалификации – в 1981–1984 гг. с 61,7 до 80,8%. Количество сторонников расширения возможностей частного сектора экономики возросло уже вслед за этим, в 1984–1988 гг. – с 59,5 до 72,6% [22. Р. 96–97].

Экономической дифференциации населения предшествовала дифференциация политическая. Сформировавшийся в первой половине 80-х годов отряд антиэгалитаристов имел явный перевес в среде высокообразованных контингентов населения и жителей крупных городов. Главным фактором, дифференцирующим взгляды людей 80-х годов по проблемам наиболее общего характера – либерализации политической сферы, введения рыночных отношений, – был образовательный фактор [37]. Обладатели наиболее высокого социально-экономического статуса разувверились в возможности централизованной системы управления государством удовлетворять их материальные потребности, ставшие доминирующими в условиях экономического кризиса. Решение освободиться от государственной зависимости стимулировалось вынужденными поисками альтернативных источников доходов, быстрым снижением доли зарплаты в общей сумме доходов граждан. Это решение выразилось в акцентировании высокообразованными группами населения даже не столько экономических мотивов смены статуса наемного работника на статус собственника, сколько стремления их к независимости и возможностям самореализации. Преобладало желание не просто перейти на лучше оплачиваемую работу на предприятие частного сектора экономики, а стремление "работать на себя", быть "хозяйном своего труда". В условиях, когда "культурный капитал" оставался, казалось, главным и практически единственным преимуществом положения интеллигенции, шансы на успех в рыночной экономике не вызвали у нее самой сомнений. Возможности удовлетворения ею своих потребностей вне общественного сектора связывались с высоким уровнем образования и квалификации.

Вышедшие из лона представлений о социальном равенстве и примате образовательного фактора, рыночные идеи завоевывали умы "авангарда" общественного развития, сближая его с нарождавшимся слоем частных предпринимателей. Вместе с

тем в Польше, начиная уже с 1984 г., взгляды квалифицированных рабочих эволюционировали в противоположном направлении, все больше сближаясь со взглядами менее квалифицированных представителей этой группы общества, превратившихся в социальную основу "старого порядка". Сформировавшееся в этой стране противоречие двух составляющих среднего класса окончательно реализовалось, как и в других бывших социалистических странах, к концу десятилетия. И в 1988–1990 гг. специалисты, в отличие от рабочих, продолжали быстро сдвигаться в направлении окрашенных радикальным антикоммунизмом экстремально-либеральных взглядов даже в Польше, где социальные последствия развития частного сектора экономики уже начали активно проявляться. Доля сторонников безграничной приватизации среди них в эти годы удвоилась [22. Р. 230].

Фактор образования, а не величины доходов определял динамику как экономических, так и политических ориентаций населения в 1988–1990 гг. Поддержка однопартийной политической системы отчетливо снижалась в Польше с ростом образования от 45,7% у низшего до 12,2% для высшего его уровня [30. Р. 223]. Прямая зависимость от уровня образования существовала и в распространенности демократической ориентации в целом.

Как показал К. Загорский на материалах Польши 1991 г., на формирование антиэгалитарных взглядов, поддержку приватизации и системной трансформации оказывал сильное позитивное влияние только уровень образования, точнее наличие высшего образования. Реализация его в социально-профессиональном статусе имела в данном случае относительно небольшое значение. Именно антиэгалитаризм предопределял склонность к радикальным преобразованиям всех сфер общества. Вместе с тем сам антиэгалитаризм, что подтверждено социологическими данными, основывался на ожиданиях повышения уровня жизни. Причем перспективы материального благосостояния оценивались гораздо выше, чем существующий уровень зарплаток, порождая уже забытые настроения повышенного оптимизма "социально-продвинутых" слоев общества [38].

С присущим поколению 50-х годов рождения неконформизмом интеллигенция выступила в качестве "ядра" массовой основы "бархатной революции". С падением социалистического строя начался процесс становления нового политического режима, предпринявшего в начале 90-х годов следующую попытку форсированной модернизации – теперь в виде "шоковой терапии".

Реализация целей и задач "нового курса" привела к очередной ломке социальной структуры общества в СССР и странах Восточной Европы. В ходе ее кардинально изменился статус интеллигенции. Что объединяло все страны региона, так это прежде всего стремительная дезинтеграция и социальное перерождение этой группы общества. Одновременно принципы рыночной свободы, пришедшие на смену принципам всеобщего равенства, в корне изменили соотношение материальных и духовных ценностей.

Итак, вслед за крахом института массового членства в компартии ушел в прошлое феномен "массовой высокообразованности". Уже первая смена поколений в 60-е годы на примере Чехословакии продемонстрировала возможность исчерпания социально-политического потенциала коммунистического режима. Вторая смена поколений в 80-е годы реализовала эту возможность, приведя в действие механизмы осуществления власти, адекватные социокультурным параметрам восточноевропейского общества уже не середины, а конца XX века.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Shlapentokh V. Soviet public opinion and ideology. New York, 1986. P. 154.*
2. *The social structure of Eastern Europe. New York, 1976.*
3. *Nowak St. Changes of social structure in social consciousness // The Polish sociological bulletin. 1964 / № 2.*

4. *Malewski A.* Attitudes of the employee from Warsaw enterprises toward the differentiation of wages and the social system in may 1958 // *The Polish sociological bulletin.* 1971. № 2.
5. *Inkeles A., Bauer R.* The Soviet citizen: daily life in a totalitarian society. Cambridge, 1959.
6. К промѣнамъ социální структуры в Ческословенску. 1918–1968. Praha, 1993. S. 203.
7. Ческословенска сполѣчност. Bratislava, 1969. S. 512.
8. *Machonin P.* Sociological evidence on historical development of Czech-Slovak relationships. Praha, 1994.
9. Vývoj сполѣчности ЧССР. Podle výsledku sčítání lidu, domů a bytu 1980. Praha, 1985. Č. 1. S. 119.
10. Тенденции социального развития европейских социалистических стран. Киев, 1985.
11. Социально-культурный облик советских наций. М., 1986.
12. *Арутюнян Ю.В.* О некоторых тенденциях в изменении культурного облика наций // Советская этнография. 1973. № 4. С. 11.
13. *Шубкин В.Н.* Ценностные ориентации молодежи при выборе профессий. М., 1970. С. 8.
14. Социальные проблемы труда и производства. М.; Варшава, 1969. С. 102.
15. *Connor W.* Socialism, politics and equality. New York, 1979. P. 187.
16. *Koralewicz J.* Parental values and social stratification // *Sisyphus. Sociological studies.* Warszawa, 1987. Vol. IV., p. 111.
17. The politics of modernization in Eastern Europe. Testing the Soviet model. New York, 1974. P. 95.
18. *Matějovsky A.* Sociální reprodukce inteligence v ЧССР // *Sociologický casopis.* 1980. № 1. S. 20, 24.
19. *Gerber T.R., Hout V.* Educational stratification in Russia during the Soviet period // *American journal of sociology.* 1995. № 3. P. 612.
20. *Бляхман Л.* Молодой рабочий 70-х годов. Социальный портрет. М., 1977. С. 17.
21. *Господинов К., Митев П.-Э.* Высшее образование – социально-гомогенизирующие и/или социально-дифференцирующие функции // Социальная мобильность и образование. Будапешт, 1986. № 1. С. 115.
22. Societal conflict and systemic change. The case of Poland. Warsaw, 1993.
23. *Филиппов Ф.Р.* Школа и социальное развитие общества. М., 1990. С. 51.
24. Народное благосостояние. Тенденции и перспективы. М., 1991. С. 19.
25. Социальные проблемы перехода от образования к труду (Международное сравнительное исследование). М., 1991. С. 132.
26. *Шубкин В.Н.* Система образования и воспроизводство новых элит // *Этика успеха.* 1994. № 3.
27. *Koralewicz-Zebik J.* The perception of inequality in Poland 1956–1980 // *Sociology.* 1984. № 2.
28. *Дубин Б.* Интеллигенция и профессионализация // *Свободная мысль.* 1995. № 10. С. 44.
29. *Matěju P., Řehakova B.* Changing conditions – changing values? Praha, 1993.
30. The Polish road from socialism. The economics, sociology and politics of transition. Armonk (New York), 1992.
31. The Soviet Union since Stalin. Bloomington, 1980. P. 186.
32. *Чередниченко Г., Шубкин В.* Молодежь вступает в жизнь. М., 1985. С. 213.
33. Politics, work and daily life in the USSR. A survey of former soviet citizens. Cambridge, 1987. P. 53, 56.
34. *Connor W.* Social change and stability in Eastern Europe // *Problems of communism.* 1977. № 6. P. 27.
35. Poland in the 1980s. Reassessment of crises and conflict. Warsaw, 1989. P. 228.
36. Survey research and public attitudes in Eastern Europe and the Soviet Union. New York, 1981. P. 494.
37. *Kolarska-Bobinska L., Rychard A.* Economy and polity: dynamics of change // *Social research.* 1990. № 2. P. 315; *Есть мнение!* М., 1990. С. 15.
38. *Zagorski K.* Hope factor, inequality and legitimacy of systemic transformation // *Communist and post-communist studies.* 1994. № 4. P. 374.



Физиолог / Издание подготовила Е.И. Ванеева. СПб., 1996. 168 С.

В 1996 г. серия "Литературные памятники" пополнилась еще одним ценным изданием, которое так долго ждали специалисты в области славянской средневековой книжности, историки древнерусской литературы, лингвисты и источниковеды. Подготовленная Е.И. Ванеевой книга представляет собой публикацию двух русских списков "Физиолога" – сборника рассказов о свойствах реальных и фантастических животных, камней и растений, сочетающих фактическое описание с символическим толкованием в духе христианского верования. Мы уже имели возможность достаточно подробно рассказать о судьбе этого памятника в славянской книжности и представить археографическое описание известных сегодня русских списков "Физиолога" [1], поэтому сейчас хотелось бы только отметить, что новое издание восполняет пробел в истории изучения "Физиолога" отечественной славистикой и вводит в научный оборот ценные рукописные источники.

Публикация текстов предваряется авторским предисловием, в котором изложены основные вехи в изучении и издании греческих и славянских текстов "Физиолога" древнейшей, александрийской редакции. Е.И. Ванеева указывает, что со времени первого русского исследования, посвященного "Физиологу" [2], число списков первой редакции увеличилось с трех до семи. Уточним, что на сегодняшний день известно уже восемь русских списков "Физиолога"; в книге оказался неучтенным

список БАН 32.16.19, конца XVII в. (описание см.: [1. С. 41–42]). Автор ставит перед собой несколько генеральных задач (С. 8): 1) выяснить соотношение между известными списками "Физиолога" первой редакции (они охватывают период с конца XV до XVII в.); 2) определить текст их общего протографа путем сопоставления текстов друг с другом и с греческими текстами и 3) через сравнение с греческими текстами установить полноту и адекватность славянского перевода. Эти задачи успешно решаются Е.И. Ванеевой на материале публикуемых списков № 68/1145 (конец XV в.) из Кирилло-Белозерского собрания Российской национальной библиотеки (СПб.) и № 1458 (конец XVII–XVIII в.) Софийского собрания РНБ (в описании этого списка на С. 56 опущена опечатка – номер рукописи указан как 458).

Публикация осуществлена на высоком научном уровне, отличается тщательностью и профессионализмом в отношении к источнику. Тексты сопровождаются комментарием, ценность которого состоит в последовательном указании на источники библейских цитат, обильно включенных в описания природных объектов и в символические толкования их свойств. Поскольку в статьях "Физиолога" прямые ссылки на библейские книги отсутствуют, а сами цитаты часто представляют собой пересказ фрагментов Священного Писания или выступают лишь как некие реминисценции из Библии, такая сводка

указаний на ветхозаветные и новозаветные тексты значительно облегчает работу исследователя, изучающего механизмы символизации имен и образов в памятниках герменевтического направления – а именно к ним и принадлежит "Физиолог". Проявляются в комментариях и некоторые "темные места", которых немало в славянских списках "Физиолога". Так, на С. 113 разъясняется фрагмент рассказа о слоне (слон и слониха, детеныш которых появляется на свет в воде, уподобляясь первым людям – Адаму и Еве, – которые "роди Каина на тихах водах"). Отметим, что другие славянские списки дают здесь следующие варианты: "на тихах водах", "на тихих водах" (список XV в. из собрания Троице-Сергиевой Лавры, № 729, л. 179; список XVII в. по изданию Г. Сване [3]). В комментариях указывается, что в данном случае русский перевод отстает от греческого оригинала (ср.: ἐπί τὰ ψεκτὰ ὕδατα – "на недостойных водах"). Выражение "тихие воды", т.е. "воды покоя", "воды отдохновения", – это образ, основанный на метафорике Псалтири (22, 7): "На месте злачне, тамо всели мя, на воде покойне (ἐπί ὕδατος ἀναπαύσεως) воспита мя". Таким образом, славянский переводчик, избрав форму "тихие воды", как бы переориентировал текст на другой библейский источник, подчеркнув символический смысл сказания; отметим, что в русле греческого оригинала остался список конца XV – начала XVI в. из Рогожского собрания № 676 (Российская государственная библиотека, Москва), где этот фрагмент передан как "в тийных водах" (Л. 342 об.).

Помимо комментариев, Кирилло-Белозерский "Физиолог" сопровождается примечаниями текстологического характера, где даются разночтения по известным публикатору спискам. К сожалению, другой издаваемый список (по рукописи из Софийского собрания) оказался обделенным и комментариями, и примечаниями, хотя он их, безусловно, заслуживает. Список Соф. (или "софийские фрагменты") интересен не только составом глав, но и своей стилистикой, разительно отличающейся от прочих списков "Физиолога". Вероятно, перед нами сознательная выборка из более полного текста, редкий пример "художественного редактирования" оригинала, осуществленный книжником XVI в.

Безусловную ценность для исследователя древнерусской книжности представляет помещенная в разделе "Приложения" статья Е.И. Ванеевой «Древнерусские

списки "Физиолога"» (С. 51–80). Она включает обзор семи известных публикатору русских списков "Физиолога" александрийской редакции и их текстологический анализ, на основе которого можно сделать вывод о причастности всех списков к гомогенной литературной традиции и поставить вопрос об их общем протографе (общие для всех списков ошибки, общие (сравнительно с греческим текстом) пропуски, одинаковые вставки в текст, общие "темные места"). На С. 62 дана схема, представляющая соотношение списков между собой, на которой указаны выявленные публикатором "пары" списков, имеющие наибольшее количество сходных черт. По поводу систематизации списков хотелось бы сделать два замечания. Е.И. Ванеева объединяет в пару список Рог. 676 (РГБ) и F.XVII.104 (50–60-е годы XVI в., РНБ) на том основании, что они "имеют очень много общих только им чтений и восходят к одному протографу, но, вероятно, не непосредственно, а между протографом и этими списками были, по-видимому, промежуточные звенья" (С. 61). Правда, здесь же следует оговорка: «По общему составу сборники Рог. и F мало похожи. Они также непохожи ни по размеру, ни по виду: F – рукопись в лист, довольно роскошная, с большими миниатюрами в тексте Козьмы Индикоплова, который предшествует "Физиологу"; Рог. – небольшая, в 4°, совсем простая рукопись» (С. 63). Нам кажется, что приведенных доказательств недостаточно для того, чтобы объединять указанные списки в особую группу, тем более, что можно найти немало доводов и в пользу иного объединения. Так, по нашему мнению, пару к списку F вполне мог бы составить публикуемый список КБ (см. наши предположения по этому поводу в [1. С. 41]). Здесь лишь скажем, что текст F оканчивается главой об индийском камне; это последняя глава, полностью сохранившаяся в списке КБ (далее текст обрывается). В F оставлены места для рисунков, что наводит на мысль о том, что переписывание осуществлялось с лицевого оригинала (таковым, наряду с Рог., является и КБ). Северное происхождение рукописи F и нахождение ее в течение какого-то времени в составе библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря подтверждается приписками на полях, отразившими черты севернорусского говора и наличием библиотечного клейма на обрезе сборника F.XVII.104.

Второе замечание касается неучтенного

в издании списка "Физиолога" из собрания БАН 32.16.19. Он вполне мог бы вписаться в предложенную Е.И. Ванеевой схему, составив пару к списку (XVI – начала XVII в.) из Архангельского собрания БАН (Арх. Д. 143). По нашему мнению, список 32.16.19 является копией с Арх. Д. 143, дополненной несколькими вставными фрагментами [1. С. 41–42].

Сравнивая между собой лицевые списки КБ и Рог., Е.И. Ванеева сделала очень интересное и ценное наблюдение, которое может во многом разрешить дискуссионный вопрос о характере и смысле изображений животных в "Физиологе", уже поднимавшийся в литературе [4–6]. В Рогожском списке изображаются сами животные, которым посвящены статьи. В Кирилло-Белозерском "Физиологе" в большинстве случаев изображается не животное и не предмет, а та их особенность, о которой сообщается в статье (С. 55) и которая, соответственно, становится предметом символического уподобления и истолкования. Именно в этом и состоит причина различия между "похожими" на своих реальных прототипов зверями и птицами из списка Рог., и странными, "на одно лицо" животными из списка КБ! Кроме того, различию в изображении соответствует и различие в соотношении между текстом статьи и миниатюрами: в КБ сначала идет рассказ, а потом иллюстрация к нему, в Рог., напротив, изображение предшествует рассказу. Таким образом, иллюстрация в КБ (помещенная после статьи) становится понятна после прочтения текста, так что здесь на первом месте смысл, символическое содержание притчи о животном. В Рог. изображение животного в начале главы есть его представление, подобное начальной клишированной фразе в статьях "Физиолога" с упоминанием животного, о котором далее пойдет речь в рассказе-описании. Остается только пожалеть, что лицевой список КБ был издан "Литературными памятниками" без иллюстративного ряда, ведь в рукописи КБ № 68/1145 содержится 52 изображения зверей, птиц, насекомых, морских животных, камней и растений, и в отличие от западноевропейских "Физиологов" и bestiaries славянские миниатюры с изображением животных из "Физиолога" практически никогда не издавались.

Отдельный раздел статьи составляет анализ основных особенностей славянского перевода "Физиолога" (С. 63–72). В целом, славянский перевод соотносится с

греческим текстом древнейшей редакции "Физиолога" (С. 65). Славянский текст совпадает с греческим в порядке следования глав и по объему и содержанию текста в главах. В славянском переводе нет дополнений из других редакций "Физиолога" или из других источников (вставные фрагменты в списке F и, добавим, в БАН 32.16.19 являются особенностями данных рукописей, а не перевода в целом). Но при этом дошедший до нас в славянских рукописях текст памятника является весьма несовершенным, в нем много трудных для прочтения мест, ошибок в понимании смысла, пропусков в тексте и т.п. (С. 66), что, вероятнее всего, передает особенности протографа, который к моменту первоначального переписывания был уже в довольно плохом состоянии.

В то же время, как отмечает Е.И. Ванеева, "славянский перевод – это сравнительно неплохой перевод, несмотря на ошибки и чрезвычайный буквализм в передаче греческого текста. (...) Это традиционный перевод с пословной передачей текста, стиль и лексика которого являются обычными для переводов, дошедших, например, в составе Клоцевского сборника или Супрасльской рукописи" (С. 66, 69). Таким образом, древнерусские тексты "Физиолога" с полным правом могут рассматриваться в одном ряду с наиболее ранними славянскими переводами, отразившими архаические черты лексикографической работы книжников.

Следующий раздел статьи (С. 72–80) обращает внимание читателя на список "Физиолога" из сборника № 371 из собрания Царского (=собр. Уварова, № 515; Государственный исторический музей, Москва). Следует сказать, что данный список представляет собой вторую, "византийскую" редакцию "Физиолога" и должен рассматриваться в ином контексте, а именно в сравнении с другими списками этой редакции (в настоящее время в научный оборот введено 19 болгарских, сербских и русских списков), что и было с блеском проделано болгарской исследовательницей А. Стойковой в ее книге «"Физиолог" в южнославянских литературах» (нашу рецензию см.: Славяноведение. 1996. № 5. С. 116–119). Интересно, что Е.И. Ванеева, предприняв свое независимое исследование особенностей списка Царского и сравнив его с греческим текстом византийской редакции по изданию Ф. Збордоне (1936), болгарскими текстами по изданиям В. Ягича (1895) и

П. Олтяну (1984) и румынским текстом по изданию М. Гастера (1886–1888), а также используя при анализе недавно открытый список "Физиолога" византийской редакции в сборнике XIV в. из собр. Ф.Ф. Мазурина (№ 1700, РГАДА), пришла к выводам, аналогичным тем, что сделала А. Стойкова. По мнению обеих исследовательниц, Мазуринский "Физиолог", список Царского и Клужский список, опубликованный П. Олтяну, представляют собой тексты, отразившие один и тот же перевод (согласно А. Стойковой, он может быть датирован XIII в. и является, таким образом, самым ранним переводом греческого "Физиолога" византийской редакции на славянские языки). В этой связи нельзя не отметить досадное недоразумение относительно списка Царского, которое преследует эту рукопись со времен ее первой публикации А.Д. Карнеевым. Речь идет о датировке сборника Увар. 515, где содержится список. В описании Е.И. Ванеевой (С. 72) сборник традиционно датируется XVI в. Однако, как мы уже отмечали, в результате кодикологического анализа удалось уточнить возраст сборника – он старше и относится к третьей четверти XV в. [1. С. 43].

Несколько слов следует сказать еще об одном тексте, помещенном в разделе "Приложения". Это перевод на современный русский язык греческого текста "Физиолога" александрийской редакции (С. 124–156), сделанный Е.И. Ванеевой по изданию Д. Каймакиса [7]. Почти пословный перевод оказывается необходимым подспорьем для работы со славянскими списками, учитывая особенности славянского перевода и связанные с ними трудности, о которых уже говорилось выше. Как указывает публикатор, на русский язык был переведен текст "из группы $\Sigma\alpha\varsigma$ ". К сожалению, более подробных сведений о списке, с которого осуществляется перевод, не приводится, хотя подобная информация была бы не лишней, учитывая тот факт, что книга Каймакиса отсутствует в библиотеках России и бывшего СССР.

Книга Е.И. Ванеевой завершается двумя указателями, очень уместными в такого рода изданиях. Это индекс-указатель животных и предметов, упоминаемых в "Физиологе" (С. 157–160), и указатель библейских цитат и реминисценций (С. 161–165), не очень удачно названный "Указателем библейских мест", что наводит на мысль о библейской географии и топонимике.

Новая публикация древнерусского "Физиолога" вызывает хорошо известное исследователям рукописного наследия чувство удовлетворения от знакомства с профессионально подготовленным критическим изданием. Квалифицированный анализ списков, добротный справочный аппарат, привлечение первоисточников (греческих текстов) – все это делает книгу Е.И. Ванеевой ценным вкладом в российскую славистику.

© 1998 г. Белова О.В.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белова О.В. К вопросу об изучении славянского "Физиолога" // Славяноведение. 1995. № 2.
2. Карнеев А.Д. Материалы и заметки по литературной истории "Физиолога". СПб., 1890.
3. Сване Г. Славянский Физиолог (александрийская редакция). По рукописи Королевской библиотеки в Копенгагене. Ny Kongelig Samling, 147b // Arbejdspapirer Slavisk Institut Aarhus Universitet. Aarhus, 1986. № 6/7. С. 183.
4. Лурье Я.С. Два миниатюриста XV века // Культурное наследие Древней Руси. М., 1976.
5. Попов Г.В. Древнейший русский лицевой проскинитарий // Иерусалим в русской культуре. М., 1994. С. 92, 96–97.
6. Белова О.В. Баснословный зверинец // Живая старина. 1996. № 2. С. 47–50.
7. Kaimakis D. Der Physiologus nach der ersten Redaktion. Meisenheim am Glan, 1974.

Л.П. ЛАПТЕВА. Славяноведение в Московском университете в XIX – начале XX в. М., 1997. 296 С.

Монография Л.П. Лаптевой – первое в отечественной историографии комплексное исследование истории славяноведения в Московском университете до 1917 г. Автор поставила своей задачей и целенаправленно провела анализ "истории накопления знаний о зарубежных славянах в университете на фоне знакомства с ними русской общественности вообще; истории организации преподавания славистических дисциплин и подготовки славистических кадров; научного творчества московских профессоров-славистов и содержания исследовательской славистической работы в университетских научных обществах" (С. 5).

В обстоятельном введении Л.П. Лаптева устанавливает главные методологические принципы своей работы, касающиеся предмета исследования и периодизации развития славяноведения в дореволюционной России. В частности, примечательно определение термина "славяноведение": «Для неславянских стран и народов "славяноведение" есть комплексная дисциплина (или комплекс дисциплин) обо всех славянских народах. Для славянских же стран понятие сужается, в "славяноведение" не включается изучение родного языка..., отечественной литературы, истории, истории этнографии и т.д. Для России изучение русского, да и других восточнославянских языков, русской истории, этнографии, литературы не является "славяноведением", к которому относится исследование материальной и духовной культуры *южных и западных* славян, а также *древних славян...*» (С. 6).

Автор различает также понятия: "знания о славянах" и "наука о славянах", (т.е. "славяноведение"), различие между которыми определяется наличием критики источников.

Л.П. Лаптева предлагает свою периодизацию истории славяноведения в России, на основе которой определяет структуру своей книги. По ее мнению, история *научного* (курсив мой. – М.Д.) славяноведения в России прошла в своем развитии два главных этапа: 1) с 30–40-х годов до начала

60-х годов XIX в.; 2) от 60-х годов до 1917 г. (с осязаемой гранью, падающей на 80-е годы) (С. 7). Соответственно, первая глава характеризует сведения о славянах в России и в Московском университете и его обществах до конца 30-х годов XIX в., вторая посвящена развитию славяноведения в университете в 40–60-е годы XIX в., третья – славяноведению в нем в пореформенную эпоху (60–80-е годы), четвертая – в эпоху от середины 80-х годов до 1817 г. (С. 8).

Большое внимание автор уделяет развитию предшествующего, "ненаучного" этапа развития славяноведения в России. Она подробно анализирует сведения о славянах, которые приносили путешественники по славянским землям с начала XIX в. (Ф.П. Лубяновский, А.И. Тургенев и А.С. Кайсаров, В.Ф. Тимковский, М.К. Бобровский, П.И. Кёппен и др.), критически характеризует периодические издания, помещавшие материалы о славянах: ("Вестник Европы" М.Т. Каченовского, "Благонамеренный" А. Измайлова, "Библиографические листы" П.И. Кёппена, "Московский вестник" М.П. Погодина, "Московский телеграф" Н.А. Полевого и др.). Жаль, что в этом списке отсутствует "ультраславянофильский" журнал "Маяк", олицетворяющий "донаучный" подход к освещению истории славян. Не прошла мимо внимания автора и деятельность различных научных обществ (Общество истории древностей российских (ОИДР) и др.) и блистательные научно-славистические труды К.Ф. Калайдовича, А.Х. Востокова и других, намного опередившие свое время.

В центре внимания исследователя – история кафедр славяноведения в Московском университете с 1835 по 1917 гг., включая ее предшественников в лице эстетика М.Г. Гаврилова (1811–1829) и профессора М.Т. Каченовского (1835–1842), а также сопутствующую деятельность Ю.И. Венелина, Н.И. Надеждина и М.П. Погодина. Началом научной постановки преподавания на кафедре автор считает курсы профессора О.М. Бодянского, а затем А.Л. Дювернуа, Н.А. Попова, Р.Ф. Брандта, В.Н. Щепкина и др.

Л.П. Лаптева скрупулезно характеризует их научную подготовку (учителя и командировки в славянские страны), курсы по славяноведению, которые читали названные слависты, анализирует их научные труды, в отдельных случаях научную деятельность их учеников (А.Ф. Гильфердинг, А.А. Майков, А.А. Котляревский, А.А. Кочубинский, М.С. Дринов и др.) и ученых обществ (ОИДР, Общество любителей естествознания (ОЛЕ), Московское археологическое общество (МАО) и др.), связи с зарубежными славистами. Не забыты и ученые, читавшие курсы по истории славян вне стен кафедры: В.И. Герье, А.М. Иванцов-Платонов, И.А. Линиченко, П.А. Лавров, М.И. Соколов, М.К. Любавский, Ю.В. Готье и др. К сожалению, почти десятилетнее лежание книги в издательстве, по-видимому, не позволило автору использовать данные новейших исследований о М.Т. Каченовском, М.П. Погодине, О.М. Бодянском, А.Л. Дювернуа, Н.А. Попове, А.Ф. Гильфердинге, А.А. Майкове, В.Н. Щепкине, Д.Н. Егорове, В.А. Погорелове и других, которые могли бы (иногда существенно) дополнить,

скорректировать и уточнить некоторые положения книги.

Автор приходит к выводу о восходящем в целом развитии славяноведения в Московском университете до 1917 г., соответствовавших европейскому научному уровню, за исключением предреволюционного тридцатилетия, когда "славянская история... имела второразрядную общественную и научную актуальность" (С. 235). Л.П. Лаптева считает Московский университет "главным центром славяноведения в России" до 80-х годов XIX в., когда "Петербургский университет и ОРЯС АН выступали ... на равных, а подчас и превосходили своими достижениями в славистике старейшее высшее учебное заведение России" (С. 236).

В целом книга Л.П. Лаптевой представляет собой солидное исследование, основанное на впечатляющей базе опубликованных и архивных источников, оно несомненно внесет ценный вклад в развитие истории отечественного славяноведения и несомненно привлечет внимание специалистов и более широких кругов читателей.

© 1998 г. *Досталь М.Ю.*

Славяноведение, № 3

Что есть история? – определенней множество! Позволю себе предложить еще одно: история – это смертная в своем бессмертии память человечества. Пишутся десятки, сотни, тысячи книг, посвященных различным и в то же время сопрягающимся проблемам, темам, сюжетам. Славяноведение здесь не исключение, и порой возникает язвительно-горькая мысль при чтении той или иной штудии – позвольте, но ведь это уже давно известно и вся новизна состоит лишь в обильном цитировании того, что уже стало аксиоматичным. В сущности, – я говорю об истории России и славянства – все мы стоим на плечах гигантов, но нередко забываем о них, сделавших первый и крупный шаг в изучении того же славянства, или, случается, облакаем их безыскусный язык в сугубо научный терминологический наряд.

И именно здесь книга Л.П. Лаптевой напоминает нам о том, кто есть мы, вяжет живую нить времен, соединяя былое с

настоящим. Уже с первых строк автор вводит в знакомый, но далеко не познанный мир России начала прошлого столетия, когда основным источником сведений о зарубежном славянстве были как и в седые времена свидетельства и записки путешественников. Искусно соединяя известные факты с ушедшими в забвение сюжетами, Л.П. Лаптева рисует целостную картину накопления разнообразной информации, служившей базой для начала систематического научного изучения славянских народов. И что не менее важно, чтение книги рождает сразу вопросы, побуждает к размышлениям об идее славизма и славянства, о феномене светской науки и прерывистости знаний во времени. Эти проблемы и темы присутствуют в скрытой или явной форме у автора на протяжении всего текста.

Прежде всего они прослеживаются и подаются сквозь призму истории славяноведения в Московском университете, через освещение деятельности ученых в

различных научных обществах, журнальных публикаций. Сжатые, но емкие характеристики первых работ и результатов исследований московской профессуры позволяют вспомнить и напомнить о знаменитой плеяде российских ученых, чьи труды были заложены в основание науки о славянстве. И хотя здесь нет нужды перечислять их имена, я все же назову одно — К.Ф. Калайдовича и его исследование "Иоанн, эксарх болгарский", первое, как подчеркивает автор, научное сочинение в области славянской филологии.

В то же время текст книги свободен от апологетики деятельности ученых мужей. Так, повествуя о жизненном пути того же Ю. Венелина, Л.П. Лаптева, не умаляя его заслуг, пишет и об известной игре воображения в его работах. Из представленных в книге *singulum vite* исследователей славянства, работавших в 30–60-х годах, наиболее удачные связаны с именами М.Т. Каченовского и О.М. Бодянского. Мы помним первого еще по строчке из язвительно-сатирического стихотворения Пушкина "Собрание насекомых". Там он едко прозван "злым пауком" (расшифровка М.П. Погодина), вероятно из-за монотонности читаемых им лекций в университете и неуживчивости. Но этот "паук", как пишет автор, был отцом известной "скептической школы" в русской историографии, издателем авторитетного журнала "Вестник Европы". Умелое чередование его биографических данных с воспоминаниями современников с собственными архивными разысканиями позволили Л.П. Лаптевой избежать здесь сугубой сухости и однотонности в характеристике Каченовского.

О патриархе отечественного славяноведения О.М. Бодянском печатано немало, но тем не менее многое осталось "за кадром". В сущности целостной и объемной научной работы о нем не было. Эту задачу и взяла на себя Л.П. Лаптева. Богатство привлеченных ею архивных материалов, на которых в основном построен текст исследования, позволило автору высветлить многообразную учебную и научную деятельность Осипа Максимовича, проанализировать и представить биографию и труды ученого. Большое место посвящено собственно педагогической деятельности Бодянского в университете: что и как он читал, его работу со студентами. В ретроспективе автор освещает и саму постановку преподавания славяноведческих дисциплин в университете. Хотя тут же можно

заметить, что совершенно не лишним было бы привести динамику численности студентов, специализировавшихся на изучении славянства, ввести сведения о социальном статусе поступавших, дать развернутую информацию об их последующих местах службы.

Да, историю творят люди — они ее герои, свидетели, действующие лица, но не будем забывать и о времени. Именно это чувство передано автором весьма основательно, в частности, в сюжетах, связанных с работой Бодянского в ЧОИДР, с запутанной "Флетчеровской историей".

Рисуя портрет Осипа Максимовича, Л.П. Лаптева подчеркивает, что он был вполне "благонамеренный", а отнюдь не "левый" профессор. И все же здесь можно опять-таки задаться во многом риторическим вопросом: почему Бодянский, придерживавшийся умеренно-либеральных взглядов, считал «немцев исконными врагами и "губителями" славян»? И так, как известно, думал не один он, хотя имена Канта, Гегеля, Шеллинга были весьма почитаемы в российской ученой среде. И здесь, я повторяю, может быть следовало развить эту тему особо. Но в целом, раздел об О.М. Бодянском следует признать несомненной творческой удачей автора.

Большое место отводится Л.П. Лаптевой и школе Бодянского, его ученикам, многие имена которых вошли в энциклопедии, словари, справочники. Здесь и будущий блестящий дипломат Е.П. Новиков — автор известной монографии "Гус и Лютер", чье содержание и сейчас не устарело. И может быть трезвость политических оценок славянства, истоки его взвешенных донесений из Вены, где он был послом Российской империи, следует искать еще в бытность студенчества. Тут и имя А.Ф. Гильфердинга также трудившегося на дипломатическом поприще и немало сделавшего для славянства и его истории. Вырисована и фигура полузабытого А.С. Клеванского с его работами по гуситскому движению. Привлечение Л.П. Лаптевой различных отзывов, мнений о героях своего повествования придает живость тексту, где авторская оценка, основанная на знании источников, всегда заметна и основательна. Достаточно подробно представлена и личность А.А. Майкова, самого близкого ученика О.М. Бодянского. Филолог, историк, публицист, занимавшийся в основном южнославянской проблематикой, почти забыт нами. Эта несправедливость и устраняется

в книге, где внимательно прослежен усеянный шипами времени путь преподавателя, вынужденного покинуть по ряду причин стены университета, и ученого, автора "Истории сербского языка по памятникам, писанным кириллицею, в связи с историей народа", получившей восторженные отзывы как в России, так и за рубежом, особенно в Сербии. Достаточно упомянуть, что его работа была отмечена Демидовской премией. Разысканные Л.П. Лаптевой ранее неопубликованные статьи, рукописи, конспекты Майкова возможно в будущем станут предметом особого исследования. Из младшего поколения учеников Осипа Максимовича в книге представлены прежде всего такие имена как А.А. Котляревский и А.А. Кочубинский, в творчестве которых, как отмечает Л.П. Лаптева, большое значение представляют штудии по истории русского славяноведения.

Время в личности и личность во времени – это, в сущности, расхожий девиз любого историка. Следуя ему, Л.П. Лаптева достаточно ярко и конкретно воссоздает страницы истории отечественной науки, ее деятелей. Обращаясь к 60–80-м годам XIX столетия, Л.П. Лаптева со свойственным ей умением "дойти до сути" рисует портреты представителей второго поколения российских славяноведов – профессора-слависта А.Л. Дювернуа и историка Н.А. Попова. (Какое разительное несходство фамилий и близость изысканий!). На страницах книги автор достаточно подробно с использованием своих архивных разысканий освещает жизненный и творческий пути обоих ученых, особое внимание уделяя их научным исканиям в молодые годы. Привлекая новые материалы и документы, Л.П. Лаптева дает сжатый экскурс их преподавательской деятельности, знакомит с их мнениями, убеждениями, позициями по роду занимавших их внимание научных проблем. Показывая их вклад в науку, автор в то же время далек от "приглаживания" и "непогрешимости" своих героев, что избавляет от мертвящей скуки и придает тексту жизненность. Из крупных лингвистических работ Александра Львовича, рассматриваемых в книге, можно выделить историю создания "словаря болгарского языка", издание которого тесно связано с политическими событиями того времени, конкретно с освобождением Болгарии. Говоря о трудах Нила Александровича, Л.П. Лаптева останавливается не только на его классических

исследованиях по истории Сербии, на которых воспитывалось не одно поколение историков, но и на изысканиях по истории западного славянства, на тех научных проблемах, имевших и политическое содержание и значение. Прежде всего это дискуссия о концепции австрославизма, о государственном устройстве жизни славянских народов, об общеславянской азбуке. (Позволю себе попутно высказать свое мнение. Всем известна чеканная формула Р. Киплинга и, думается, она относится и к славянству, его ветвям: прав был Лентьев, говоря, что есть славянство, но нет славизма. Что же, нам остается только славяноведение? Думаю, что нет: жизнь наших великих предшественников является примером служения славянству, тому общему, что в нас есть, что нас объединяет.) Последовательно рассматривая научную, преподавательскую и общественную деятельность А.Л. Дювернуа и Н.А. Попова, Л.П. Лаптева показывает не только значимость исследуемой ими проблематики в отечественном славяноведении, но и необходимость изучения их богатого наследия – особенно Н.А. Попова, ряд работ которого до сих пор ждет своего исследователя.

Небольшой, но органически входящий в тему раздел посвящен автором славяноведению в научных обществах при Московском университете – Обществу истории и древностей российских (ОИДР) и его "Чтениям", равно как и Московскому археологическому обществу (МАО). Скупость развертывания, содержащейся в нем плотной информации, прорывается в строчках о причинах сокращения чисто славянских материалов в "Чтениях", в подаче сведений об истории возникновения МАО, о славянских участниках археологических съездов, получивших международный характер. Созвездие имен российских и зарубежных ученых, печатавшихся на страницах изданий этих обществ, свидетельствует о многом, в том числе и о расширении, укреплении межславянских связей, приобретавших новые формы.

Именно о них – этнографической выставке и славянском съезде 1867 г. в Москве – повествуется в очередном сюжете. Казалось бы тема довольно хрестоматийная и вряд ли можно добавить здесь что-то новое. Ан нет. Само богатство информации, рассеянной по различным источникам, внимательно изученных Л.П. Лаптевой, позволило ей выбрать именно те созвучные авторскому исследованию материалы, введение кото-

рых в текст позволило освежить и придать новые краски казалось бы традиционному набору сведений.

Рассказывая – я намеренно избрал это хорошее русское слово, несправедливо забытое наукой и ее высокоучеными аделтами – об истории славяноведения во времена царствования Александра III и Николая II (точнее с середины 80-х годов до 1917 г.), автор обращается к биографическому жанру, позволяющему точно и емко воссоздать ряд портретов-характеристик отечественных славистов, осветить их преподавательскую работу и ...вспомнить студенческие годы, задуматься над современным состоянием славяноведения.

Р.Ф. Брандт, В.Н. Щепкин, П.А. Лавров, М.И. Соколов, М.К. Любавский, Ю.В. Готье – вот имена тех, чья жизнь была неотделима от Московского университета, связана со славяноведением. С особым тщанием выписана биографическая канва, показана и проанализирована лекционная работа, научная деятельность первых пяти ученых. (Личность Ю.В. Готье освещена весьма скупо. Материалы о нем больше напоминают заметку для энциклопедического словаря.) Привлекаемые к исследованию "архивные бумаги" позволили, как пишет автор, исправить многие фактические ошибки, встречавшиеся в иных работах, избежать каких-либо недомолвок.

Наиболее интересные строчки авторского исследования посвящены фигуре П.А. Лаврова, ставшего в советское время академиком, и сыну сельского псаломщика – ректору Московского университета (дважды избирался на эту должность после 1905 г.) М.К. Любавскому, чьи лекции слушал основатель кафедры истории южных и западных славян В.И. Пичета. В присущем Л.П. Лаптевой четко-суховатом стиле вырисована неординарность их биографий, показана разносторонность научных интересов, проанализирована преподавательская работа. Тщательный подбор цитируемых материалов, часто весьма живописных по своему характеру, помогает воссоздать живых людей, чья жизнь так похожа и в то же время разнится от нынешнего времени.

"Исследования о зарубежных славянах в рамках университетских научных обществ" – название раздела, где встречаются уже знакомые аббревиатуры – МАО, ОИДР, ЧОИДР. Текст густо насыщен именами ученых и темами их изысканий, докладов, статей, позволяющих судить о широте проводимого славянского поиска, вкладе в изучение славянского мира. В этой связи здесь следует упомянуть труды по древнеславянской литературе блестящего ученого М.Н. Сперанского, жизнь и научная деятельность которого кратко обрисованы автором. Однако основное внимание Л.П. Лаптева уделяет работе Славянской Комиссии (СК) МАО, где были объединены славистические силы Москвы. Автор был первым кто провел емкое исследование по этой тематике, существенно обогатив знания в сфере славяноведения, его истории. Освещение научных заседаний СК МАО, просуществовавшей почти четверть века (с 1892 по 1915 гг.), – занятие весьма трудоемкое. Тем не менее Л.П. Лаптевой удалось передать главное – пути научного поиска и память об ушедших.

Завершают книгу "Славистические вопросы в трудах специалистов по другим дисциплинам и в популярных очерках". В сжатой форме здесь излагаются сведения о публикациях В.И. Герье, Д.Н. Егорова и других ученых, дается информация справочного характера о статьях, печатанных в различных изданиях, прежде всего в "книге для чтения по истории средних веков", говорится об "Обществе славянской культуры" под председательством Ф. Корша.

Подводя итоги прочитанному, можно сказать, что предпринятое Л.П. Лаптевой исследование по своей сути представляет своеобразный памятник славяноведению в Московском университете. Мы много говорим о связи времен, но к сожалению в нынешнем МГУ не нашлось средств на издание этой книги, увидевшей свет только потому, что автор издал ее на собственные средства.

© 1998 г. Косик В.И.

Польские профессора и студенты в университетах России (XIX – начало XX в.). Варшава, 1995. 205 С.

Из всех двусторонних комиссий историков бывших социалистических стран к настоящему времени уцелела лишь та, которая объединяет ученых из России и Польши. Отрядный факт выживания единственного из всех подобных форумов свидетельствует о взаимном понимании необходимости сотрудничества при изучении культурных контактов между двумя странами. Комиссия, возглавляемая с польской стороны академиком ПАН Ю. Бардахом, с российской – членом-корреспондентом РАН проф. Я.Н. Щаповым, проводит регулярные заседания с обсуждением важнейших проблем русско-польских культурных контактов, причем для участия приглашаются кроме сотрудников обеих академий также представители многих учебных заведений и научных учреждений двух стран. Тексты прочитанных на заседаниях докладов публикуются в специальных сборниках. Последний из них, заглавие которого приведено в названии настоящего сообщения, является результатом заседания, проведенного в Казанском университете 13–15 октября 1992 г. (а не 1993, как указано на титульном листе!), и содержит 27 статей – текстов докладов ученых из Варшавы, Москвы, Санкт-Петербурга, Гданьска, Твери, Тарту, Казани, Перми, Челябинска и других городов. В них освещается большой комплекс проблем, связанных с пребыванием не только польских профессоров и студентов, но и других представителей интеллигенции в российских университетах и других учреждениях.

Задачу общего введения в тематику книги выполняет по существу статья польского ученого Е. Рузевича "Поляки в высших учебных заведениях России до 1918 года. Состояние исследований". Указано, что с 1755 по 1918 г. в российских университетах обучались около 30 тыс. поляков. Автор насчитал за этот же период 400 фамилий польских профессоров и несколько сот нижестоящих научных сотрудников. Многие из них внесли существенный вклад в развитие русской и польской науки. По степени изученности на первое место ставится Дерптский университет, за которым следует университет Петербурга: о деятельности в нем поляков имеется немало сочинений, в том числе и одна докторская диссертация. Меньше исследован в этом смысле Московский университет (хотя ряд польских и отечественных работ все же имеется и о нем). Недостаточно изучен вопрос о Харьковском университете, хотя там до 1918 г. работали около 40 польских профессоров и преподавателей. Ни одной

работы нет о деятельности поляков в Новороссийском университете, а также и в Казанском, хотя в нем с 1804 по 1918 г. работали более 40 ученых-поляков, в том числе и пользовавшихся мировой известностью. Правда, отдельные публикации о них имеются, но общая картина еще не ясна. Поляки преподавали и учились также в высших технических, сельскохозяйственных, лесных и медицинских учебных заведениях России. Таким образом, статья Е. Рузевича намечает и пути дальнейшего изучения вопроса, указав на остающиеся пробелы. Много интересного материала содержится и в статье Л. Заштовта "Начало польских исследований по истории университетов в Российской империи – пример Людвика Яновского". Остановившись на состоянии дела образования в частях бывшей Речи Посполитой, перешедших к России после разделов, автор далее характеризует работы польских ученых по истории Киевского и Харьковского университетов, Киево-Могилянской Академии и других учебных заведений, подробно останавливаясь на исследовании Л. Яновского о Харьковском университете и прочих его сочинениях. Л. Яновский окончил Киевский университет, где его научным руководителем был известный русский славист Т.Д. Флоринский.

Вторым важным вопросом в материалах сборника является система организации образования поляков в университетах России. О преобразованиях российской системы университетского обучения при активном участии князя А. Чарторыйского говорится в статье Н.И. Шавелевой "Князь Адам Чарторыйский и формирование системы высшего и среднего образования России в начале XIX века". Автор останавливается на работе Комиссии по созданию проекта реформ образования в России, членом которой был Чарторыйский, и ряде мероприятий, проведенных по инициативе князя. Особое внимание уделяется вопросу организации образования в Виленском учебном округе, которым управлял Чарторыйский, чьи усилия открыли дорогу к дальнейшему совершенствованию просвещения юношества и способствовали приобщению российской интеллигенции к общеевропейским культурным ценностям. Много интересного и нового материала содержится в статье Ю. Бардаха "Курсы польского права в Санкт-Петербургском и Московском университетах в 1840–1860 годах". Остановившись на причинах создания кафедр польского права в названных университетах (нужно было готовить юристов для работы в Царстве Польском), автор указывает, что учились здесь стипендиаты

Царства Польского, а профессорами были крупные польские специалисты. Характеризуются также монографии и учебники этих ученых. Автор отмечает деятельность профессоров К. Заборовского, А. Чайковского, В. Спасовича и И. Ивановского в Петербургском университете, подчеркивает трудолюбие студентов-стипендиатов, ученость и прогрессивность польских профессоров (в отличие от их русских коллег). Впрочем, автор статьи не отмечает того, что все польские профессора были лояльны к царскому режиму (без чего не получили бы своих должностей) и пользовались благами профессорской корпорации наравне с русскими.

Преподаванию истории Польши и польской литературы в Московском университете посвящена статья Л.П. Лаптевой, где на основе архивных материалов и анализа курсов лекций делается вывод, что преподавание этих предметов осуществлялось выдающимися учеными М.К. Любавским, Р.Ф. Брандтом, В.Н. Щепкиным на высоком научном уровне.

Несколько статей освещают вопрос об участии студентов-поляков в общественном движении. Так в статье В.А. Дьякова "Польские студенческие организации 30–60-х годов XIX в. в Российских университетах" рассматриваются три формы таких объединений: кружки по принципу землячества: "Огулы", т.е. объединения широкого профиля, охватывавшие всех обучающихся в данном университете польских студентов и имевшие более или менее сложную внутреннюю структуру; межнациональные организации с участием польских студентов. Автор обратил внимание на крен в марксистской историографии в сторону изучения русско-польских революционных связей в ущерб изучению других контактов. Впрочем, о существовании этого крена свидетельствует статья Г.И. Марахова "Поляки в Киевском университете (1834–1864)". Вопреки названию, предполагающему, казалось бы, освещение вопроса в целом, автор касается лишь революционного движения польских студентов в названном учебном заведении. Об учебе польских студентов и работе польских профессоров в Киеве читатель в упомянутой статье сведений не найдет. Но, с другой стороны, нельзя не согласиться с констатацией того факта, что большинство студентов-поляков Киевского университета были отпрысками дворянских родов, владевших украинскими крестьянами. Утрата доходов и власти не могла не сказаться на их психологии и поведении, выразившихся в высокомерном отношении к Украине вообще, что, естественно, вызывало негативную реакцию со стороны ее жителей. В статьях польских авторов сведения такого рода, как правило, не приводятся.

Ю.Д. Марголис в статье "Студенты-поляки Петербургского университета в общественном движении 1840–1860-х годов" рассказывает о борьбе польских студентов за независимость Польши и об их связях с революционным движением в России. Много внимания уделяется отношению поляков к Т.Г. Шевченко. Статья написана на основании литературы советского периода и по оценкам рассматриваемого сюжета ничем от нее не отличается.

На основании работ, посвященных участию польских студентов в общественном движении, можно прийти к выводу, что жизненной целью поляков, учившихся в университетах России, была революционная борьба. А между тем, как отмечается, например, в статье Г. Курписовой и Ф. Новинского "Польские студенты в Петербургском университете в XIX в." поляки отличались особым трудолюбием и составляли половину всех "отличников".

Можно отметить еще несколько докладов, посвященных общим вопросам. Так, Р.М. Валеев рассмотрел проблему "Изучение Востока польскими учеными в российских университетах в первой половине – середине XIX века", а С.М. Михайлова опубликовала статью "Польские студенты и преподаватели Казанского университета в культурно-просветительской и общественной жизни Поволжья".

В высших учебных заведениях России в XIX в. число обучающихся и работавших поляков значительно превышало количество преподавателей польской национальности в вузах Западной Европы. В ряде статей объясняются причины этого явления. Г. Курписова и Ф. Новинский констатируют, что причин было много, и они менялись в ходе исторического развития. Так, в Петербург направлялась молодежь из Царства Польского и западных губерний России, пусть даже дворянского происхождения, но не имевшая средств для занятий за границей и не рассчитывавшая на помощь родителей. Стипендии в российских университетах обеспечивали сносное существование, да и работу после окончания учебы (правда, по указанию властей). На протяжении XIX в. несколько поляков было и в составе преподавателей Петербургского университета.

В Казанском университете за исследуемый период работали 67 профессоров и преподавателей и обучались 123 студента польского происхождения. Однако причины такой "популярности" Казанского университета среди поляков не всегда зависели от них самих. Царское правительство широко практиковало перемещение "неблагонадежных" и провинившихся студентов из Виленского, а затем и Киевского университетов в Казанский, находившийся "на окраине". Профессора-поляки зани-

мали в Казанском университете как правило должности, связанные с повышением по службе, и работали здесь добровольно.

История Дерптского университета изучена в нашей отечественной литературе слабо. А между тем это учебное заведение внесло значительный вклад в воспитание кадров для системы российского высшего образования. Особую роль сыграл в этом Профессорский институт Дерптского университета (1828–1839). Об учившихся в нем поляках говорит К. Бартницкая в статье "Профессорский институт Дерптского университета и его польские учащиеся". Основанная на архивных материалах, впервые вовлеченных в научный оборот, статья вносит много новых сведений о системе организации высшего образования в России в первой половине XIX в. В дерптский Профессорский институт принимались по конкурсному экзамену способные и трудолюбивые лица со знанием иностранных языков, умеющие свободно и ясно выражать свои мысли, физически здоровые российские подданные безупречного поведения. 83% всех сотрудников института составляли немцы, получившие образование в авторитетных немецких учебных заведениях. Они поддерживали активные контакты с лучшими университетскими центрами Германии и передавали свои знания слушателям Профессорского института. Высоко ценя свою профессию, преподаватели института чуждались обскурантизма и ограниченности во взглядах, применяли индивидуальные формы занятий со слушателями, оказывали им постоянную помощь, внимательно наблюдали за их успехами, справедливо их оценивали. Студенты получали стипендии, достаточные для жизни и учебы, но занятия требовали больших усилий. Лекции читались только по-немецки, к учащимся предъявлялись более высокие требования, чем к студентам университетов. В Профессорский институт Дерпта были направлены четверо поляков, все они окончили полный курс и хорошо себя проявили в учебе. В 1835 г. они начали педагогическую деятельность в высших учебных заведениях России и внесли заметный вклад в развитие русской культуры, сохранив при этом чувство принадлежности к польской нации. Оценивая эти факты, автор указывает, что упомянутые выпускники Профессорского института начали свою работу в момент введения нового университетского устава 1835 г., который был "шагом назад" по сравнению с предшествующими установлениями 1803 г. На наш же взгляд, устав 1835 г., хотя и ограничивал автономию университетов, все же имел и большое положительное значение для их развития. Создавались новые кафедры, в частности – истории и литературы славянских наречий, а для замещения должностей на них были

посланы в продолжительные заграничные командировки молодые ученые. Здесь готовили не только славистов, но и учились знаменитый историк Т.Д. Грановский, крупнейший русский филолог Ф.И. Буславев, многие юристы, не говоря уже о медиках и представителях точных и естественных наук. Связи с Западной Европой были нарушены лишь с периода революций 1848 г. и до вступления на престол Александра II. Расцвет деятельности польских воспитанников Профессорского института приходится как раз на время реформ 60-х годов и установления весьма благоприятных условий для высшего образования в России. Но это – частный момент. В целом же статья К. Бартницкой сообщает много нового по вопросу о воспитании кадров высшей школы в России и в известной мере заполняет пробел в русскоязычной литературе об университетах.

В нашей историографии мало изучена и история русского Варшавского университета, созданного в 1869 г. В рецензируемом сборнике этому университету посвящена статья А.Е. Иванова "Варшавский университет в конце XIX – начале XX века". Польские историки уделяли определенное внимание Варшавскому университету этого периода, и он рассматривался прежде всего как проводник политики русификации. Не отрицая этого факта в принципе, следует все же оценивать значение этого учебного заведения диалектически, чего, на наш взгляд, А.Е. Иванов не сделал. Он опирается на публицистическое сочинение Н. Дубровского, "Официальная наука в Царстве Польском" (СПб., 1908), не признающее ничего положительного в практике Варшавского университета. (В литературе эта книга уже давно известна. Об ошибочности суждений Н. Дубровского, особенно в отношении В.А. Францева, см. [1, 2].) По мнению А.Е. Иванова, для поляков было "подневольной необходимостью" учиться в Варшавском университете, "где господствовали колониальные порядки", так что он отвергался польской молодежью в целом. Полагаем, что это утверждение верно в основном только для 1905–1906 гг., когда революционное движение в России захватило все университеты, а в Варшаве вылилось в требование полонизации тамошнего университета. А.Е. Иванов упускает из виду тот факт, что любой университет не только выполняет задачи государства по подготовке кадров в нужном для политического режима духе, но и дает образование определенной части общества, формируя мышление и мировоззрение учащихся очень часто далеко не в том направлении, которое предполагалось при создании этого учебного заведения. В Варшавском университете в разное время работали родона-

чальник позитивистского направления в изучении истории славян В.В. Макушев, крупнейшие историки России Д.М. Петрушевский и Н.И. Кареев, автор многих замечательных сочинений по польской истории и литературе А.Л. Погодин, филологи В.А. Францев и Е. Карский и др. Большие достижения имели русские ученые Варшавского университета в области естественных наук и медицины. По сведениям Е. Рузевича, через русский университет в Варшаве прошли 7 тыс. поляков и около тысячи студентов еврейского и немецкого происхождения, ассимилированных польской культурой. Более 100 поляков посвятили себя науке и добились в ней больших результатов, о чем свидетельствует их членство в Польской и Краковской академиях. В межвоенное двадцатилетие около 80 выпускников русского Варшавского университета были профессорами и преподавателями высших учебных заведений в Польше [2. С. 281–282].

Таким образом, русский Варшавский университет выполнял не только русификаторские задачи (с чем он, кстати, не справлялся), но также и образовательные. До 1905 г. поляки составляли в нем до 60% всех студентов; они не имели средств для обучения за границей. Забастовка 1905 г. привела к закрытию университета на три года и упадку его значения как учебного заведения ввиду оттока русских профессоров. В целом, нельзя согласиться с тем, что русский университет *"фактически с момента своего открытия* (курсив мой. — Л.Л.) *уподобился осажденной польской интеллигентной общечественностью крепости*". Ведь в этой "крепости" сидели и поляки, притом не без пользы для себя.

В заключение обзора укажем еще на наличие в сборнике значительного числа статей, посвященных отдельным польским ученым, работавшим в университетах России. Так, О.М. Гильмутдинова в статье "Петр Зейфман — первый директор Казанского Ветеринарного Института" рассказа-

ла о деятельности крупного ученого и реформатора ветеринарного образования, построив свое изложение на архивных документах. Весьма интересный материал представлен в статье Г. Оюнцэцга "Проблемы монголоведения в трудах О.М. Ковалевского". Две статьи посвящены деятельности знаменитого лингвиста И.А. Бодуэна де Куртене. С.М. Фалькович ("Участие профессора Петербургского университета Я.Н. Бодуэна де Куртене в общественно-политической жизни России начала XX века"; различие в инициалах объясняется тем, что Ян Нецислав Бодуэн именовался в русском обиходе Иваном Александровичем) рисует привлекательный образ ученого, осуждавшего национальный гнет, ратовавшего за свободу совести, противника антисемитизма, политики мадьяризации словаков, угнетения поляками украинцев, русинов, белорусов, евреев. Программа ученого требовала национального самоопределения, равноправия всех национальностей и вероисповеданий и т.д. Таким образом, крупнейший лингвист принадлежал к числу борцов за демократию и прогресс, что доказывается в статье аргументированно и убедительно.

Из изложенного, как нам представляется, видно, что совместный сборник о поляках в российских университетах XIX–XX вв. предлагает много новых и интересных сведений, внося существенный вклад в изучение польско-русских культурных связей.

© 1998 г. Лантева Л.П.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лантева Л.П. В.А. Францев как историк славянства // Славянская историография. М., 1966. С. 204–246.
2. Rózewicz J. Polsko-rosyjskie powiązania naukowe (1725–1918). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, 1984.



К 80-летию ЛЬВА СЕРГЕЕВИЧА КИШКИНА

19 марта 1998 г. исполняется 80 лет со дня рождения ведущего научного сотрудника Института славяноведения РАН, д-ра ист. наук Льва Сергеевича Кишкина. После окончания аспирантуры при Институте Лев Сергеевич работает в нем с 1954 г. Участник Великой Отечественной войны, Л.С. Кишкин почувствовал интерес к культуре славянских народов на земле Чехии, куда привел его ратный путь. Впоследствии он становится видным российским славистом, чьи исследования охватывают широкий круг вопросов литературоведения, культурологии и истории, в том числе и междисциплинарные проблемы.

Лев Сергеевич известен прежде всего как специалист по литературам Чехии и Словакии, особенно их древнему периоду и XIX в., по литературным и культурным связям между этими странами и Россией, теоретическим и историческим проблемам сравнительного литературоведения. Его работы публикуются в нашей стране и за рубежом, пользуясь заслуженным признанием. Л.С. Кишкин – автор монографий "Сватоплук Чех" (1959), "Миколаш Алеш и чешская культура" (1978), "Чешско-русские литературные и культурно-исторические контакты" (1983), "Чехословацкие находки" (1985), "А.Ф. Смирдин" (1987), "Словацко-русские литературные контакты в XIX в." (1990), "Литературные связи" (1992). Внимание к проблемам культуры и искусства, к взаимодействию литературы с другими областями человеческой деятельности привело в итоге к написанию книги "Литература среди искусств и наук" (1994).

Львом Сергеевичем написаны главы для обобщающих литературоведческих трудов Института: "Очерки истории чешской литературы XIX–XX вв." (1963), "История словацкой литературы" (1970), "История литератур западных и южных славян" (Т. 1, 1997), а также разделы для "Истории всемирной литературы", подготовленной ИМЛИ. Будучи одним из организаторов сравнительного изучения славянских литератур в Институте, Лев Сергеевич участвовал как автор и редактор во многих коллективных работах литературоведов, среди которых – "Чешско-русские и словацко-русские литературные отношения" (1968), "Сравнительное изучение славянских литератур" (1973), "Литературные связи и литературный процесс" (1986), "Общение литератур" (1990), "Функции литературных связей" (1992), сборники, посвященные выдающимся деятелям славянской культуры – Я. Коллару (1993), П.И. Шафарику (1995). Ряд исследований стал основой для подготовки курсов лекций в высшей школе.

Перечень работ Л.С. Кишкина весьма обширен. Разумеется, в столь краткой заметке невозможно не только перечислить названия, но даже охарактеризовать полностью проблематику многочисленных статей Льва Сергеевича, опубликованных как в научных, так и в популярно-массовых изданиях, в периодической печати. Лев Сергеевич – постоянный автор журнала "Славяноведение". Проявляя склонность к архивным исследованиям, Л.С. Кишкин сделал много ценных разысканий, касающихся, в частности, русской культуры XIX в. Это неизданные произведения, письма, биографические материалы, способные заинтересовать

и специалиста, и рядового читателя. Особое место занимает в исследованиях Льва Сергеевича пушкинская тема. Он активно участвовал в создании музея Пушкина в Бродзянах (Словакия), опубликовав затем свои работы о сделанных там важных находках ("Бродзянские культурные памятники", 1981, и др.). Лев Сергеевич работает над книгой "Пушкин и Чехия", посвященной 200-летию со дня рождения поэта.

Одним из первых в нашей стране Лев Сергеевич начал разрабатывать тему русской послереволюционной эмиграции.

Л.С. Кишкин – участник почти всех послевоенных Международных съездов славистов (с 1958 г.) и других крупных научных мероприятий.

Значителен вклад Льва Сергеевича в популяризацию славистических исследований. Это большое число публикаций и выступлений с докладами и сообщениями в различных аудиториях – музеях, культурных обществах, учебных заведениях и т.п. Это и популяризация литературы как таковой: Лев Сергеевич дважды подготовил, например, издание книг великого словацкого поэта Гвездослава на русском языке (1974, 1979).

Лев Сергеевич пользуется большим уважением как человек обширнейшей эрудиции, пытливого интереса к отечественной и зарубежной культуре, как настоящий подвижник науки и большой патриот. Он легко вступает в оживленный диалог с молодыми учеными, помогает им советами и книгами из своей библиотеки. Даже создание эмблемы Центра по исследованию славянских литератур для издательства "Индрик" не обошлось без участия Льва Сергеевича, чьи практические рекомендации очень помогли коллегам.

В 1985 г. Лев Сергеевич получил звание почетного гражданина чешского города Миротице, родины Миколаша Алеша.

Сотрудники Института славяноведения сердечно поздравляют Льва Сергеевича Кишкина с юбилеем и желают ему здоровья и новых успехов на научном поприще.

© 1998 г. Шведова Н.В.



ПАМЯТИ НИКОЛЫ ПЕТРОВИЧА

(1910–1997)

Скончавшийся в Белграде в 1997 г. видный сербский историк Никола Петрович хорошо известен как крупный специалист, чье научное творчество охватывало широкий круг проблем исторического развития Балкано-Дунайского региона с конца XVIII в. вплоть до первой мировой войны.

Родившийся в 1910 г. в Новом Саде (Воеводина), Петрович получил инженерное образование в Праге, но стал заниматься историей еще с середины 30-х годов, когда начали появляться его первые статьи о сербской общественной мысли и политических движениях XIX в. Однако жизненный водоворот отодвинул его вступление на стезю профессионального ученого еще почти на два десятилетия. Как многие молодые интеллигенты его круга, Петрович уже в студенческие годы вступил в коммунистическое движение, затем стал деятелем подпольной Компартии Югославии. Он был активным участником возглавленной КПЮ в 1941–1945 гг. вооруженной борьбы против фашистской оккупации, а в 1945–1951 гг. занимал министерские посты в югославском правительстве, возглавлял крупные экономические отрасли – торговлю и снабжение, внешнюю торговлю, электроэнергетику, машиностроение. Но его человеческая порядочность оказалась не ко двору в период развязанного Сталиным в 1948–1953 гг. острого противоборства между коммунистическими режимами СССР и Югославии: Петрович не счел возможным доносить на одного из старых друзей, поделившегося с ним своими политическими сомнениями, и поплатился, когда югославские власти узнали об этом. Лишенный прежнего положения Петрович, которому было уже за сорок, сумел начать в сущности новую жизнь, целиком уйдя в занятия историей. Не обладая специальным образованием, он тем не менее стал профессионалом высокого класса.

Важнейшим в научной деятельности Николы Петровича явилось исследование Восточного вопроса, его места в сербской политике и особенно в развитии общественного движения, различных идейно-политических ориентаций в Сербии и находившейся под габсбургской властью Воеводине в середине и второй половине XIX в., роли, которую при этом играли Россия и Австрия/Австро-Венгрия. Разным аспектам этого тематического круга посвящены десятки его статей, книги "Светозар Милетич (1826–1901)" (1958), "Вокруг Милетича и после него" (1964), фундаментальная двухтомная публикация "Светозар Милетич и Народная партия. Документы. 1860–1885" (1968–1969). В исследованиях по данной проблематике Петрович плодотворно сотрудничал с учеными академического Института славяноведения и балканистики в Москве: вместе с В.Н. Кондратьевой подготовил публикацию "Объединенная сербская оmlадина и ее эпоха. 1860–1875. Документы из советских архивов" (1977), представлял югославскую сторону в советско-чехословацко-югославской публикации "Зарубежные славяне и Россия. Документы М.Ф. Раевского. 40–80-е годы XIX в." (1975), а затем возглавил подготовку ее второго, советско-югославского тома "Югославяне и Россия. Документы из архива М.Ф. Раевского 40–80 годов XIX в." (1989). В том же институте состоялась в 1974 г. защита его докторской диссертации по теме "Борьба за освобождение балканских народов от власти Оттоманской империи и сербы Австро-Венгерской монархии". Хронологическим продолжением этого исследовательского комп-

лекса явились статьи Петровича о роли национального вопроса в закате и крахе Австро-Венгрии, в том числе его выступление на XII Всемирном конгрессе историков в 1965 г. Особый тематический круг в его научном творчестве составил цикл работ по истории строительства водных путей дунайской системы в XVIII–XIX вв. Наиболее значительной публикацией на эту тему стала книга "Судоходство и экономика Среднего Подунавья в эпоху меркантилизма" (1978). Ряд работ Петровича посвящен методологическим вопросам исторической науки. В частности, он первым среди югославских историков применил математический метод, сделав это в исследовании "Протокола Милоша Обреновича", важного источника по истории Сербии первой четверти XIX в., опубликованного им вместе с В. Крестичем в 1973 г.

Лучшее из того, что сделано Николой Петровичей в его фундаментальных исследованиях, надолго останется в историографии, а в памяти тех, кто его знал, сохранится образ прекрасного человека чести и слова.

© 1998 г. *Гибианский Л.Я., Чуркина И.В.*

**Новые издания Института славяноведения
и балканистики РАН**

В 1995–1997 гг. в Институте славяноведения и балканистики РАН вышли следующие издания:

- Австро-Венгрия. Опыт многонационального государства. М., 1995.
Бывшие "хозяева" Восточной Европы. М., 1995.
*Движение Сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 1939–1945. М., 1995.
*Знакомый незнакомец. Социалистический реализм как историко-культурная проблема. М., 1995.
*Из истории общественной мысли народов Центральной и Восточной Европы (конец XVIII – 70-е годы XIX в.). М., 1995.
*Исследования по славянской диалектологии 3. *Калнынь Л.Э., Масленникова Л.И.* Изучение вариативности в славянских диалектах. М., 1995.
*Книга в пространстве культуры. Тезисы научной конференции. М., 1995.
Национальный вопрос в Восточной Европе. Прошлое и настоящее. М., 1995.
*Национальный эрос в культуре. Тезисы докладов. М., 1995.
Никифоров Н.В. Сербия в середине XIX в. Начало деятельности по объединению сербских земель. М., 1995.
*Павел Йозеф Шафарик (к 200-летию со дня рождения). М., 1995.
*Постреволюционная Восточная Европа. Экономические ориентиры и политические коллизии. М., 1995.
*Проблемы становления и развития серболужицких литературных языков и диалектов. Сб. статей. М., 1995.
*Пушкаш А.И. Внешняя политика Венгрии. Апрель 1927 г. – февраль 1934 г. М., 1995.
*Россия и Балканы. Из истории общественно-политических и культурных связей (XVIII в. – 1878 г.). М., 1995.
Савченко В.Н. Восточнославянско-польское пограничье. 1918–1921 гг. Этносоциальная ситуация и государственно-политическое размежевание. М., 1995.
Сератионова Е.П. Российская эмиграция в Чехословацкой республике (20–30-е годы). М., 1995.
Славяне и их соседи. Имперская идея в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы (Тезисы XIV конференции). М., 1995.
Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы. М., 1995.
У истоков "социалистического содружества": СССР и восточноевропейские страны в 1944–1949 гг. М., 1995.
*Болгария и Россия. Сб. трудов Б.Н. Билунова. М., 1996.
*Версаль и новая Восточная Европа. М., 1996.
*Виноградов В.Н., Ерещенко М.Д., Семенова Л.Е., Покивайлова Т.А. Бессарабия на перекрестке европейской дипломатии. Документы и материалы. М., 1996.
*Данченко С.И. Развитие сербской государственности и Россия. 1878–1903. М., 1996.
*Дмитриев М.В., Флоря Б.Н., Яковенко С.Г. Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI – начале XVII в. Ч. I: Брестская уния 1596 г. Исторические причины. М., 1996.
*Дьяков Владимир Анатольевич (1919–1995). М., 1996.
*Концепт движения в языке и культуре. М., 1996.
Международная ассоциация по изучению и распространению славянских культур. Информационный бюллетень. Вып. 28–29. М., 1996.
*Николаева Т.М. Просодия Балкан. Слово – высказывание – текст. М., 1996.
*Обзоры Научного центра славяно-германских исследований. I. М., 1996.
*Очерки истории культуры славян. М., 1996.
*Поэзия западных и южных славян и их соседей. Развитие поэтических жанров и образов. М., 1996.
*"Путь романтичный совершил..." Сб. статей памяти Б.Ф. Стахеева. М., 1996.
*Русская эмиграция в Югославии. М., 1996.
*Славянские матицы XIX в. М., 1996. Ч. 1–2.

*Славянские языки в зеркале неславянского окружения. Тезисы международной конференции. 20–22 февраля 1996 г. М., 1996.

**Титова Л.Н.* Образы и знаки в чешской культуре XVIII–XIX вв. М., 1996.

**Улуян А.А.* Деятели болгарского национально-освободительного движения XVIII–XIX вв. Биобиблиографический словарь. М., 1996. Т. I–II.

*Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика. М., 1997.

Восточная Европа в документах российских архивов. 1944–1953. Т. I: 1944–1948. М.; Новосибирск, 1997.

*История литератур западных и южных славян. М., 1997. Т. I–II.

*Конфликты в послевоенном развитии восточноевропейских стран. М., 1997.

*Материалы "Особой папки" Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) по вопросу советско-польских отношений. 1923–1944 гг. М., 1997.

*Натура и культура. М., 1997.

**Николаева Т.М.* "Слово о полку Игореве". Поэтика и лингвистика текста. "Слово о полку Игореве" и пушкинские тексты. М., 1997.

**Никольский С.В.* История образа Швейка. Новое о Ярославе Гашеке и его герое. М., 1997.

*Политический ландшафт стран Восточной Европы. М., 1997.

*Славянский вопрос: Вехи истории. М., 1997.

Книги, отмеченные звездочкой, Вы можете приобрести по адресу: 117334, Москва, Ленинский пр-т, 32А, корп. В, Институт славяноведения и балканистики РАН, комн. 920. Тел. (095) 938-54-66, Гурьева Маргарита Васильевна. Только за наличный расчет.

Встреча с Европой: Письма В.А. Панова к матери М.А. Пановой из Центральной и Юго-Восточной Европы (1841–1843 гг.) // Составители Т. Ивантышинова и М.Ю. Досталь. Братислава, 1996. На русском и словацком языках.

Книга является плодом неформального содружества словацких и российских ученых. Издатель: Общество по изучению истории и культуры Центральной и Восточной Европы в Братиславе. Работа вышла в свет благодаря финансовой поддержке спонсора – общественного движения Российской Федерации "Наш дом – Россия".

В книге опубликованы неизвестные письма (всего 11) славянофила В.А. Панова матери из славянских земель, хранящиеся в ОПИ ГИМ в фонде А.С. Хомякова. Они содержат интересный (иногда уникальный) материал по истории и культуре западных и южных славян того времени, вступивших в эпоху национального возрождения, представленный сквозь призму раннеславянофильского мировоззрения. В.А. Панов, подобно другим русским путешественникам встречался с представителями культурной славянской элиты Праги, Вены, Дубровника, Загреба, Белграда, Цетинье и др., впервые побывал в занятой турками Герцеговине. Его письма, своеобразный, не лишенный литературных достоинств, дневник путешествия, является ценным историческим документом – свидетельством очевидца эпохи.

Книга снабжена солидным справочным аппаратом. Публикацию открывает обстоятельное аналитическое введение Т. Ивантышиновой: "Письма Василия Алексеевича Панова из Центральной и Юго-Восточной Европы", в котором дается характеристика мировоззрения автора писем и их научного значения. Далее следует текст самих писем, откомментированный М.Ю. Досталь, Д. Кодайовой, П. Махо и Т. Ивантышиновой. Представлен маршрут путешествия В.А. Панова (с. 117–118). В книге дана избранная библиография литературы и источников о русских путешественниках по славянским землям первой половины XIX в., составленная М.Ю. Досталь. Публикацию сопровождают также обширные указатели – имен и географических названий, над которыми работали Г. Кравинклер, П. Кунце, Т. Ивантышинова, Д. Кодайова. В книге помещены также современные (т.е. XIX в.) карты славянских земель, образцы трудночитаемой рукописи писем В.А. Панова, титульный лист его книги "Путешествие по землям южных и западных славян. I. Которский округ в Далмации". М., 1844.

Книга представляет интерес для специалистов и более широкого круга читателей.

CONTENTS

ARTICLES

<i>Venediktov G.K.</i> (Moscow). For 70th Anniversary of Academician Vladimir N. Toporov	3
<i>Dybo V.A.</i> (Moscow). To the System of Akcent Paradigms in Prussian	5
<i>Tsejtin R.M.</i> (Moscow). On the Ancient Slavic "мысль", "мынѣти" and "мѣнити"	19
<i>Smirnov L.N.</i> (Moscow). From the History of Slovak Literary Language	23
<i>Venediktov G.K.</i> (Moscow). On the Beginnings of the Business Style in the Contemporary Bulgarian Literature Language	30
<i>Gachev G.D.</i> (Moscow). The Bulgarian's Wine and the Turks' Tobacco (about Christo Botev's Poem "In Gasthouse")	37

* * *

<i>Shevchenko I.I.</i> (Cambridge, USA). On Maxim the Greek's Greek Poetry	46
<i>Yudin A.V.</i> (Odessa). The Names of Personified Fevers in East-Slavic Encantations: Problems of Variativity	53
<i>Serebryanaya I.B.</i> (Kazan'). To the History of Word "черт" in Russian	65
<i>Pshenitsyna N.A.</i> (Moscow). "Death walks around the village..." (Chek's and Slovak's "Morena" Custom through Folklor Texts)	74
<i>Korovitsyna N.V.</i> (Moscow). Between Two Revolutions: Education in the History of Socialism in Eastern Europe	80

REVIEW-ARTICLES AND REVIEWS

<i>Belova O.V.</i> Phisyologos	92
<i>Dostal' M.Yu., Kosik V.I.</i> L.P. Lapteva. The Slavic Studies in the Moscow State University in XIX – beginning of XX century	96
<i>Lapteva L.P.</i> Polish Professors and Students in the Russian Universities (XIX–XX cent.)	101

PERSONALIA

<i>Shvedova N.V.</i> For the 80th Anniversary of Lev Sergeevich Kishkin	105
In memoriam of <u>Nikoly Petrowicz</u> (1910–1997)	107
The New Publications of the Institute for Slavic and Balkan Studies of RAS	109

Технический редактор *В.М. Пахомова*

Сдано в набор 11.02.98	Подписано в печать 20.03.98	Формат бумаги 70 × 100 ¹ / ₁₆
Офсетная печать	Усл.печ.л. 9,1 Усл.кр.-отт. 6,3 тыс.	Уч.изд.л. 10,0 Бум.л. 3,5
Тираж 675 экз. Зак. 3417		

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, 32а. Телефон 938-01-20
"Типография "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

**Издательство "Наука" РАН
обращает ваше внимание на следующие книги:**

Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России второй половины XIX в. 70–80-е годы. – М.: Наука. 1997. – 12,9 л. 223 с. 1000 экз.

Рассказывается о месте различных видов художественной культуры в духовной жизни России, о ее главных художественных центрах, анализируются ведущие творческие объединения и центральные выставки того времени.

*По всем вопросам приобретения книг просим обращаться
в Торговую фирму "Академкнига" РАН по адресу:*

*103624, ГСП, Москва, Б. Черкасский пер., 4.
Тел. торгового отдела: 923-72-84.*

Индекс 70891

ISSN 0132-1366 Славяноведение, 1998, № 3